



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ганская новелла

Айи Квеи
Арма

Ама Ата
Айду

Селби
Ашонг-Катай

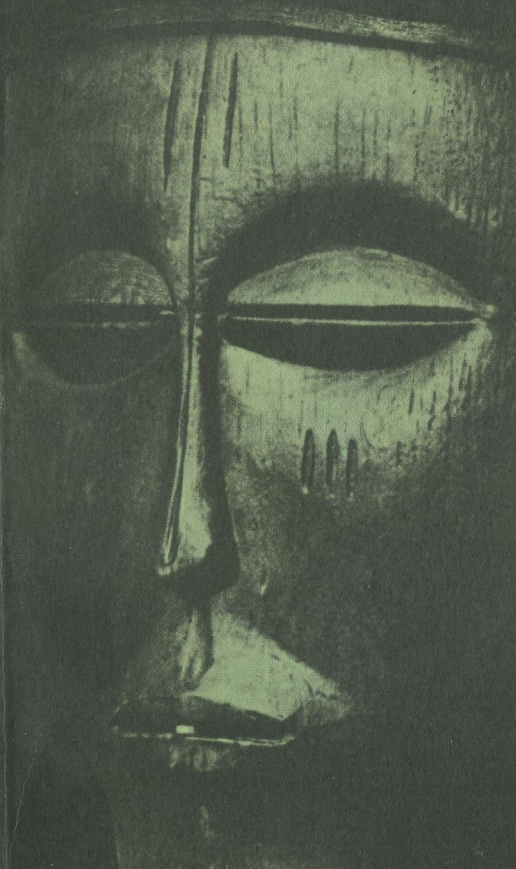
Кофи
Айду

Кваме
Ньяку

Мейбл
Доув-Данква

Аджоа
Йебоа-Афари

Кобина
Эйи





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ayi Kwei Armah
Ama Ata Aidoo
Selby Ashong-Katai
Kofi Aidoo
Kwame Nyaku
Mabel Dove-Danquah
Ajoa Yeboah-Afari
Kobina Eyih

Ганская новелла

Перевод с английского

Составление Р. Дубровкина

Предисловие Евг. Суровцева

Москва
«Известия»
1987

И (Афр)
Г19

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент Г. А. Анджапаридзе

Обложка художника С. Мухина

© Оформление, составление, предисловие,
перевод на русский язык издательство
«Известия», журнал «Иностранная лите-
ратура», 1987

Предисловие

Литература Ганы молода. Первый сборник национальной прозы и поэзии «Голоса Ганы» вышел в 1958 году, вскоре после обретения страной независимости.

Многое изменилось с тех пор и в самой стране, и в ее литературе. Гана, как и большинство африканских стран, прошла через смутное время военных переворотов, стояла на пороге гражданской войны, металась в лихорадке политической нестабильности. Былая зависимость страны от Запада отзывалась в годы мировых кризисов застоем в экономике.

И литература Ганы то знавала счастливые времена, то вдруг хирела и чахла. Из авторов того памятного первого сборника Эфуа Сазерленд и Камерон Дуоду до сих пор в строю: каждый из них выпустил несколько значительных произведений.

Однако в конце 60-х в литературу Ганы влился поток новых сил. Это уже не были «халифы на час» — они заявили о своих серьезных намерениях с первой же публикации. Кофи Авунор, Ама Ата Айду, Бедиако Асаре, Пегги Аппиа, Аму Джолето, Асаре Конаду, Атуквей Окай... Список этот можно продолжить.

В 1984 году, когда отмечалось 25-летие Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки, в качестве почетного гостя в нашу страну приехал ганский прозаик Айи Квейи Арма, два романа которого были переведены на русский язык. Автору этих строк довелось много беседовать с этим оригинальным художником и философом. Во время одной из таких бесед Арма заговорил о жанре рассказа, единственном жанре, по убеждению писателя, имеющем глубокие корни в традициях африканской словесности и влияющем на становление крупных эпических форм — романа и повести.

Нужно сказать, что и сам Арма начинал свой путь в лите-

ратуру как новеллист: в начале 60-х годов рассказы Армы охотно печатали журналы «Презанс Африкэн», «Атлантик», «Харперс» и другие. Я спросил, не из его ли ранней аллегорической миниатюры «Африканская легенда» позднее родился роман об африканской истории — «Две тысячи сезонов». Пожалуй, это так, согласился Арма, от первоначального замысла, воплощенного в рассказе, осталась главная идея, пронизывающая роман: путь Африки к свободе был долгим и трудным, континент захлестывали волны поработителей, и понадобилось пятьсот лет непрекращающейся борьбы, чтобы африканские страны стали наконец независимыми.

Стало уже банальностью говорить и писать, что Африка полна контрастов и противоречий. Но это между тем действительно так. Есть Африка традиций и патриархальной старины (особенно это относится к деревне) и Африка капиталистических городов, где даже национальный колорит сведен к минимуму; Африка чернокожих нуворишей, пришедших на смену белым эксплуататорам, и Африка «униженных и оскорбленных», пытающихся ответить на мучающий их вопрос: что же дала им независимость; Африка экзотических грез и Африка суровой действительности.

В данном сборнике, знакомящем советского читателя с современной новеллистикой Ганы, сделана попытка показать кусочек каждой из этих Африк, столь непохожих друг на друга, но по-южному ярких и сочных.

Когда читаешь рассказ А. Йебоа-Афари «В ожидании рейса», кажется, что сам изнываешь под жарким солнцем вместе с героями и тоже становишься невольным очевидцем шумной, суетливой жизни. Все вокруг столь реально и живописно, что хочется прыгнуть с грузовичка, приспособленного для перевозки пассажиров, размять затекшие ноги, заскочить в привокзальную забегаловку, поторговаться с торговками, да боишься, как и герой-рассказчик: вдруг грузовик уйдет без тебя.

С интересом, до последней строки, читаются новеллы «Обычный случай» К. Эйи и «Предвкушение» М. Доув-Данк-ва. Дело, наверное, в том, что для нас-то оба эпизода из

повседневной африканской действительности как раз и необычны (бесчинства солдатни после военного переворота в первом рассказе, а во втором — традиции полигамии). Потому-то и не обманывает читателя ожидание какой-то неожиданной развязки.

«Непокорный» Ашонга-Катаи — рассказ-аллегория. Если читатель станет все воспринимать так, как в нем описано, то вскоре он неизбежно подумает, что писатель запутался во временных пластах: мы видим здесь в одной художественной реальности и рабов, и бойскаутов, строительство современной паромной переправы и ритуальные действия колдунов и жрецов... Автор умышленно прибегает к условности, перемешивая реалии прошлого и настоящего: его цель — показать, что с приходом белого человека, колонизатора, африканец стал несвободен и уже в давние времена появились люди, которые восставали, боролись против угнетателей.

Рассказы «Амулет Яу Ману» Айи Квейи Армы, «Притворщик» Ашонга-Катаи и «Чувство справедливости» К. Ньяку обличают религию и суеверия, до сих пор имеющие сильную власть над людьми, порой даже получившими современное образование.

Ама Ата Айду, одну из немногих в Африке писательниц-профессионалов, больше всего волнует положение женщины в современном мире. Она — автор двух сборников рассказов, нескольких пьес, множества стихотворений. Ее героини — домохозяйки и медсестры, секретарши и крестьянки. Пожалуй, и в рассказе «Деньги для матери» главным действующим лицом является не молодой человек, рассказывающий о случаях из своей жизни, а его мать, неграмотная крестьянка, все силы отдавшая, чтобы ее дети получили образование.

В герое другого рассказа Амы Аты Айду, «Перемены», читатель узнает того «маленького человека», который, бесхитростно повествуя о своей жизни, хочет узнать у своего образованного собеседника, какие же реальные изменения произошли с тех пор, как ушли прежние хозяева — белые.

У каждого из писателей, чьи рассказы помещены в сборнике, различная тематика и манера письма. Но все же заметны, при всей их несхожести, общие черты: во-первых, сильнейшие традиции фольклора, устной литературы, сказочный характер; во-вторых, реализм, лежащий в основе жанра, который благодаря своей оперативности позволяет делать «снимки» окружающей действительности или помогает выхватить из темноты истории эпизоды прошлого своей страны.

Евг. Суровцев

Айи Квейи Арма

Африканская легенда

Проведя юность в скитаниях по бескрайним просторам земли, Воин никак не мог уразуметь, что влекло его именно в эти места и почему воля его была столь послушна этому влечению.

Стремясь к заветной цели, Воин побывал везде: высоко в горах, где пронзительные ветры давали ему почувствовать вкус вечности — сладко-горький, словно это единство сладости и горечи было семенем всего сущего; в саваннах срединных земель; в дебрях влажного тропического леса, где любое живое существо в конце концов перестает чувствовать свою обособленность и заключает союз с окружающим внешним миром — бесконечной чередой предметов и явлений, существующих вне его собственной телесной оболочки. И вот наконец ступил он на плоские прибрежные равнины и вышел к океану, перед лицом которого лишь глупец не задумается хоть на мгновение о бесконечности начал и концов, соединяющихся в круге жизни.

Одинокий, с нетерпением в сердце вышел Воин на берег океана и сразу понял, что за неведомая сила влекла его сюда: на песке сидела Женщина.

Она устремила взор за море, и ей, казалось, открывались недостижимые дали, седая, печальная глубина веков. Женщина эта не была ни молода, ни красива. Молодость и красота как-то не вязались с ней, ведь они преходящи, а в Женщине, сидевшей на берегу, все говорило о вечности, о постоянстве круговорота жизни, где начало соединено с концом, рождение — со смертью и снова с рождением...

Итак, та, которую он увидел, сидела, глядя вдаль, и в гла-

зах ее крылось знание вечности, недоступное большинству живущих на земле. Воин сердцем понял, что именно знание, хранившееся в ее душе, сделало лицо Женщины столь отрешенным и в то же время столь терпеливым. Это было лицо пленницы, поработанной неведомыми силами, измученной порывами собственной души и тщетно — уже давно и тщетно! — ждущей своего спасителя. Многих, подобно этому новому пришельцу, встречала она раньше с радостью ожидания, но со временем пепел разочарования покрыл ее душу, печать печали легла на чело.

Однако глаза Женщины все же вспыхнули надеждой на счастье при виде Воина, но тут же память о пережитых разочарованиях погасила радость, сменив ее тихой грустью. Перед глазами Женщины словно еще раз повернулся круг жизни — от начала до неизбежного конца. И печально упали веки, и поникли протянутые в восторге надежды руки. И сомкнулись губы, приоткрывшиеся было в естественном приветствии и улыбке радости; печальное знание, хранившееся в ее душе, убило улыбку, и вместо звонкого приветствия из уст был исторгнут вопрос-стон: «Опять?.. Опять?..»

Руки Женщины непроизвольно приподнялись навстречу Воину в искреннем приветствии, но жесту этому не позволено было завершиться: память о былых разочарованиях остановила руки, и они безвольно упали на колени, словно внутренний голос еще раз напомнил Женщине о тщетности всяких надежд.

И взгляд ее вновь устремился в дальние дали, в печальные глубины древних, забытых веков.

Странствующий Воин заглянул ей в глаза и был потрясен и обрадован их красотой: сверкающей белизной белков и радужкой, вобравшей в себя темноту ночи. А меж чуть приоткрывшихся на мгновение губ он успел разглядеть жемчуг зубов, и это тоже наполнило его чувством глубокого удовлетворения и радости. Само же ее темнокожее тело вызвало в нем восторг совсем иного рода: это была красота ночи.

Ночь может быть до боли прекрасной, но ее возлюбленный

не испытает полного удовлетворения — скорее досаду, потому что тьма не позволяет воспринять всю прелесть ночи и насладиться ею. Это бессилие страждущего тем более трагично, что во тьме-то и заключена подлинная красота ночи, томная, влекущая, не сразу позволяющая познать себя и навсегда оставляющая в плену своего очарования.

Однако ночь неизбежно сменяется светом дня — ведь всякая красота преходяща, — и жизнь продолжает свое вечное движение по кругу: начало, конец и снова начало.

Ум и сердце Воина пребывали в смятении: эта безвозрастно печальная Женщина ни словом, ни намеком не намеревалась дать ему понять, что же гнетет ее и чем он, Воин, может ей помочь. Да и в его ли силах было изменить что-либо, если все вокруг нее казалось столь непобедимо-постоянным? Причина же тихой печали Женщины, видимо, крылась в ней самой, а безвозрастность ее была лишь признаком вечности.

Любуясь красотами океана и набегающими на берег волнами, странник испытывал некое удовлетворение — правда, с легкой примесью горечи, — но можно ли было долго предаваться созерцанию вод в присутствии Женщины?

Воин повернулся и зашагал навстречу утреннему солнцу. Он надеялся, что тоска в его душе постепенно рассеется. Но чем дальше бежал он от этого места, тем сильнее билось его могучее сердце, тем слышнее звучал в нем голос, который, казалось, мог принадлежать одной лишь ей — Женщине, там, на берегу. Осуждение ли звучало в ее зове или мольба о помощи — понять было трудно, однако чем дальше уходил он, тем сильнее слышен был голос Женщины.

И вот чувство это стало непереносимым, и Воин побрел обратно вдоль берега. И тогда смятение в его душе вдруг улеглось. Он увидел.

Даже издали было ясно, что Женщина больше не одна. И уже не сидит в прежней позе, глядя на безбрежный простор вод, словно в безвременье.

Рядом с ней на песке лежал какой-то огромный человек.

Подойдя ближе, Воин ясно увидел, кто это, и сердце его сковал страх.

С первого взгляда можно было предположить, что Женщина, распростертая на песке рядом с мужчиной, предается наслаждению страсти. Однако это было не так. Из глаз ее струились слезы, но то были не слезы любовного восторга, который порой кажется своей противоположностью. Женщина действительно страдала, была терзаема болью, и Воин не мог не понять смысла ее зова. И он готов был броситься ей на помощь... но все же боялся.

Теперь он подошел совсем близко и видел, что тот, другой, хоть и был старше, но обладал богатырским сложением. Какая сила таилась в нем — этого Воин знать не мог. И еще его останавливало выражение глаз Женщины, говоривших о тщетности любых попыток освободить ее, о безнадежности сопротивления. Снова сильнее зазвучал тот зов, но невозможно было понять, хочет ли Женщина, чтобы Воин спас ее или чтобы он ею обладал. Взгляд же богатыря, лежащего с ней рядом, насмеялся: «Ты не посмеешь!» И Воин испытывал страх.

Однако какая-то древняя память вдруг проснулась в душе Воина и разбудила надежду на успех, и соперник постепенно стал как бы уменьшаться, теряя свое величие и превращаясь в обычную частичку круговорота вселенной, того бесконечного цикла, где конец соединен с началом, где даже самое удивительное и огромное — лишь капля в бескрайнем море. А тот, другой, в это время ощущал себя наверху своего могущества. И Женщина все еще оплакивала свое, на роду написанное несчастье.

Воин не испытывал больше страха. Рука его обладала теперь твердостью клинка — ей передалась безысходная потребность его души во что бы то ни стало выиграть сражение. И он ударил соперника.

Возраст и дурман наслаждения сделали свое дело: его враг оказался значительно слабее, чем этого можно было ожидать, и один удар, нанесенный Воином, решил все. Из рта

богатыря, все еще приоткрытого в любовном экстазе, хлынула кровь и залила левую грудь Женщины. Воин понял, что сломал противнику шейные позвонки. Бояться было больше нечего.

Исполненный сострадания, Воин нагнулся, чтобы стереть ненавистную кровь с груди Женщины, но ощутил, что душа его переполнена чувствами: недавний страх, и сменившая его решимость, и нерастраченные после того единственного удара силы, казалось, кипели в нем и готовы были взорваться. А красота Женщины — красота ночи, позволяющей лишь созерцать себя, но не обладать собой, — не облегчала, а лишь усугубляла смятение, царившее в душе Воина и захватившее все его существо целиком.

Воин глядел на Женщину, и в душе его боролись разноречивые чувства: любовь и жажда обладания, смешанные с презрением и отвращением. И не в силах разобраться в этой путанице, все еще горя восторгом победы, Воин прильнул к Женщине и взял ее...

...А Женщина глядела мимо отдыхавшей у нее на груди головы Воина, мимо полумесяца его уха вдаль, на бескрайние воды океана, и взгляд ее вбирал в себя море и небо, которые, казалось, сливались воедино, и воедино в мозгу ее сливались прошлое и настоящее, и ничто не отделяло настоящее от тех далеких веков, которые давно уже следовало предать забвению.

Амулет Яу Ману

Сейчас, когда он попал в тюрьму, нашлись люди, которые даже бояться заикнуться, что были знакомы с Яу Ману. Он стал вроде прокаженного. А все потому, что попался, а не потому, что эти люди осуждают зло как таковое. В конце концов каждому ясно, что честному человеку разбогатеть невозможно, но богатых уважают. И правда, наш мир просто кишит предателями, иудами, которые остаются вашими

друзьями лишь до тех пор, пока у вас все в порядке, но стоит повернуться к ним спиной или попасть в сложное положение, они уже готовы подложить вам свинью, вылить на вас ушат грязи, да еще сделают вид, что впервые о вас слышат. Да, поистине подлость людская существует от века.

Я не стыжусь признаться, что Яу Ману был моим другом. Мы дружили десять лет, пока учились в католической школе. Он всерьез относился к занятиям и всегда мечтал о приличной стипендии, чтобы продолжать учебу в Англии, и это при том, что никогда не считался не только первым учеником, но и просто способным. В классе нас было сорок пять, и дай бог, если на контрольных и зачетах он оказывался на двадцатом месте! Но это его не смущало. Англия не выходила у него из головы. Она сидела в нем как болезнь, пожирала его изнутри, заставляла жить где-то в будущем, где не было ни нас, ни привычного окружения. Сначала он хотел попасть в Ачимота или Мфантипим* или в одну из знаменитых средних школ, куда каждый год принимали не более сотни ребят — все первые или вторые ученики. Яу Ману пытался туда поступить еще в пятом классе, но провалился на вступительных экзаменах. В шестом классе он сделал еще одну попытку, но опять неудачно. Когда перешли в последний класс начальной школы, учитель посоветовал ему выбрать среднюю школу поскромнее, куда не надо сдавать вступительные экзамены. То же он советовал всем, кто хотел продолжить образование,— даже нашему первому ученику. Ману и думать не хотел об обычной школе, но в конечном счете учитель убедил его, что лучше синица в руке, чем журавль в небе.

Мы старательно зубрили, готовясь к выпускным экзаменам, но не менее старательно и молились. Девочки, чтобы угодить святой Филомене, плели нам из красных, белых и голубых нитей пояски, которые мы и носили,— даже попросили голландского священника их освятить, благо он приехал как раз кстати, потому что обычно появлялся в лучшем

* Известные в Гане средние специальные учебные заведения. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)

случае раз в году. Не забыли мы запастись и амулетами у малама*, который жил неподалеку от нашей деревни, потому как знали, что хоть белая магия и сильна, но черная еще сильнее, если, конечно, ее правильно применять. Мы сошлись на том, что если использовать обе, то тебе вообще нечего бояться, хотя вначале кое-кто из отличников все же сомневался, утверждая, что магия не всегда прибавляет, иногда и отнимает, то есть если к белой магии приплюсовать черную, то можно все на свете испортить, все на свете потерять.

Признаюсь, эти разговоры нас весьма смущали, пока один здоровенный парень, старший на молитве, не положил этому конец, пропев своим могучим голосом: «Прибавляет да вычитает, а нет чтобы умножить или разделить»,— и мы все повалились со смеху.

А тут еще самый маленький в классе, ну сущий карлик, но большой шутник, подбавил масла в огонь: «Да и делить-то, наверное, умеют только в столбик»,— ну мы еще сильнее схватились за животы, я, например, в тот день чуть не плакал от смеха. Так что мы дальше стали строить планы, забыв о всяких там правилах арифметики. Кое-кто из нас хотел, чтобы священник освятил и амулеты малама, но первый ученик класса заявил, что это уж совсем глупая затея — попы и знахари рука об руку не ходят, это все равно что заставить волков и овец есть из одного корыта. Очень жаль, сказали мы, но поскольку известно, что благоразумие, так сказать, самый ценный элемент мужества, то в конце концов амулеты малама могут обойтись и без благословения.

Когда пришел священник и освятил наши пояски, он, разумеется, завел речь о том, как важно получить защиту святой Филомены, равно как и друга животных святого Антония из Падуи, и самого Иисуса Христа, и добродетельной девы Марии, и других великих святых, но мы, мол, при этом не должны забывать, что бог и святые помогут нам лишь в том случае, если мы сами будем стараться и рабо-

* Малам (искаж. арабск.), у мусульман Африки — представитель духовно-ученого сословия; проповедник, учитель.

тать не покладая рук. Эта речь привела нас в замешательство: мы знали Катехизис наизусть, и наши скромные познания хоть и не позволяли спорить со священником, но давали нам уверенность, что в его словах что-то не так. Конечно, пока священник находился рядом, мы молчали, но после его ухода разгорелся серьезный спор. Видите ли, Катехизис утверждает, что человек, рожденный от женщины, греховен и сам себя спасти не может, но, уверовав в господя, способен сдвинуть горы. И вот является какой-то священник и заявляет, что одной веры мало. Наши отличники так и не пришли к единому мнению. Одни утверждали, что все известно — выпускные экзамены нечеловечески трудны и только вера может обеспечить успех. Другие говорили, что господь никогда не спустится на землю, чтобы сдать за кого-то экзамены, поскольку он слишком занят, глаз не сводит с Марии, сидящей по левую от него руку, и Иисуса — по правую. Это были греховные речи, но что взять с грубых деревенских мальчишек, которые и в церковь-то никогда не ходили, а учителя, оглашая по утрам в понедельник список присутствовавших на службе, боялись бить их бамбуковыми палками.

Примерно за три месяца до экзаменов из соседнего городка прибыла какая-то странная личность, утверждавшая, что имеет дядю в Экзаменационном совете в Аккре и что через этого дядю получена кой-какая полезная информация, которую мы могли приобрести. В ближайшем лесу была назначена тайная встреча, и там каждый из нас взамен двухпенсовой монеты получил двадцать вопросов с длинными заумными ответами, которые, как нам было сказано, написал преподаватель средней школы из Аккры, после этой работы сошедший с ума. «Воспаление мозга из-за непосильной нагрузки» — так этот тип определил его недуг, который обрушивается, разумеется, только на людей с избытком интеллекта.

Ну, вот мы и получили эти бесценные вопросы и ответы. Оставалось только все это пережевать, а остатки выплюнуть

и забыть. То есть от нас требовалось тщательно пережевать каждое слово так, чтобы во время экзаменов без запинки излить все усвоенное на бумаге, спихнуть эти чертовы экзамены и забыть о них. Очень просто. Но вопрос — зубрить или не зубрить — оставался по-прежнему. Не зубрить лишь потому, что на нашей стороне всевышний? И кое-кто из нас решил полностью довериться господу, святой Филомене, другу животных святому Антонию из Падуи и мусульманскому маламу. В числе таких «решившихся» был и Яу Ману. Ночами они молились, а днями постились. Они страдали ужасно, но делали это с радостью и презирали тех из нас, кто ел регулярно, и чем больше подводило от голода их животы, тем больше они верили, что господь их не оставит. Они жгли длинные индийские свечи, обмотанные черными лентами, и от них постоянно несло ладаном. На полу в нашем классе они начертили огромную звезду Давида с маленькими крестами в конце лучей, а в центре ее поставили стакан с чистой водой и приступили к такой операции: выходили, хватали какого-нибудь малыша и волокли в наш класс. Сначала справлялись, сколько ему лет — не семь ли? Кажется, Катехизис утверждает, что дети младше семи не столь испорченны. Если мальчик оказывался старше семи лет, ему давали подзатыльник и отпускали. Но если мальчишка говорил, что ему шесть или около того, то оставалось только его спросить, спал ли он когда-либо с женщиной. Вы понимаете, что не у мамы в кровати, а по-настоящему. Вопрос был важен, поскольку и звезда, и кресты, и вода появились для того, чтобы вызвать дух святого Антония, а только девственный мальчик подходил для этой цели. Мальчик, познавший женские тайны, был обречен на подзатыльник, а чистый мальчик должен был нагнуться и смотреть в стакан с «водой святого Антония».

— Что ты там видишь? — суровым голосом спрашивал старший на молитве.

— Ничего, — отвечал мальчик, всматриваясь в стакан еще пристальнее. Старший на молитве покашливал и говорил:

— Закрой глаза,— а после продолжительной паузы: — Открой. И что ты сейчас видишь?

— Все еще ничего,— раздавался тревожный ответ.

— Смотри внимательнее. Ты разве не видишь человека с крестом, одетого в черное?

И тут уж мальчик отвечал:

— А-а-а. Да, сейчас я его вижу. Да, он одет в черное.— Пинок под зад, и мальчик вылетает вон, потому как известно, что святой Антоний относится к области белой магии и может быть одет только в белое. Если же мальчишке удавалось увидеть настоящего святого Антония, то его просили больше не смотреть в стакан, а приложить к стакану ухо и слушать.

— Ну, святой Антоний начал говорить? — Правильный ответ должен был звучать не на фанти, поскольку святой говорил только по-английски. Поначалу я не мог понять, как мальчик, не зная английского, разбирал то, что говорил святой Антоний, но старший на молитве объяснил мне, что святой обладает способностью сделать так, чтобы любой понимал его, это одно из его чудесных свойств, как, например, пятнадцать таинств девы Марии, о которых рассказывал учитель Закона божьего во время благословения в октябре, как чудо Христа, превратившего на свадьбе воду в вино.

— Ну и все мы сдадим экзамены? — спрашивали мальчика.

— Святой Антоний говорит, что не все,— отвечает мальчик после некоторой заминки.

— И сколько же провалится?

— Святой Антоний говорит — трое.

По каким-то причинам всегда называлась цифра три. Трое из наших, которые учились хуже всех, начинали больше молиться и жестче соблюдать пост. А Яу Ману, хотя он и не входил в эту тройку, всегда и молился, и постился вместе с ними. Он был очень осмотрительным парнем.

В день экзаменов мы пошли к заутрене. Учитель Закона божьего произнес свою речь о тернистом жизненном пути,

и всю дорогу от церкви до зала, где должны были проходить экзамены, мы шли медленно, распевая «Веди нас и свети». Экзамены всегда казались праздником, поэтому младшеклассники и женщины из деревни стояли вдоль дороги, выкрикивая нам всякие пожелания, и пели: «Пусть отправится с вами в путь надежный друг». Некоторые плакали, а мы шли с опущенными глазами, потому как знали, что воистину спускаемся в долину смерти.

В декабре стали известны результаты экзаменов. Девятнадцать человек провалились. В сущности, для нашей школы это было совсем неплохо, поскольку проваливалась обычно половина. Конечно, объявляя результаты, учитель изобразил на своем лице великую скорбь, но мы-то знали, что в душе он ликует, а скорбь — для провалившихся, чтобы им было не так обидно.

Позже наша компания все пыталась понять, почему же не сбылось предсказание святого Антония. Старший на молитве, кстати, один из провалившихся, был просто взбешен и заявил: это потому, что не все по-настоящему соблюдали пост и искренне молились — вот господь и наказал нас: провалившись, мы заплатили за грехи нерадивых. Он до того разъярился, что я был рад, когда мы наконец разошлись, спев на прощание «Веди нас и свети».

А Яу Ману и я экзамены выдержали и на следующий год уехали в город и поступили в среднюю школу.

Не люблю вспоминать те пять лет, что мы там провели. Никто ни с кем не дружил, учиться было трудно. Святые отцы заставляли нас каждое утро ходить в церковь и каждый вечер свершать молебен. Мне все страшно не нравилось, Яу Ману же — наоборот, тем более что святые отцы души в нем не чаяли, хотя учеником он считался неважнецким, зато лучшим католиком. Он буквально не вылезал из часовни. В первый же год его сделали служкой. Как ему, который не мог запомнить даже собственных записей по истории, удалось выучить все эти латинские выражения, до сих пор остается для меня загадкой. Когда бы я его ни встретил,

в руке он всегда держал маленький молитвенник, а губы шептали церковную латынь. Он морщил лоб, а с уст лилось загадочное... Именно церковь разлучила нас. Яу Ману первым потерял ко мне всякий интерес, но для меня он всегда оставался и другом, и братом.

Я человек цивилизованный, к тому же христианин, но мне кажется, что воскресной службы вполне достаточно, чтобы человек мог сохранить святость, иначе зачем бы всемиловитейшему владыке отводить для обычной работы шесть остальных дней недели. Думаю, что именно из-за церкви Яу Ману не смог сдать экзамены на аттестат Кембриджской школы, которые мы сдавали в конце пятого класса. Хорошо известно, что вопросы для этих экзаменов присылают из Англии, поэтому они особенно трудны, и провалиться на них вовсе не считается зазорным. Мне повезло, я довольно успешно сдал экзамены. Уверен, что Яу Ману тоже бы сопутствовал успех, если бы он не проводил так много времени в церкви. Святые отцы настолько хорошо к нему относились, что оставили в школе еще на год, дабы дать ему возможность еще раз попытать счастья. Ничего похожего они бы не сделали, скажем, для меня. Однако известно, что, провалившись на этих экзаменах однажды, ты только чудом можешь сдать их с новой попытки.

Получив аттестат, я не вернулся в свою деревню, а поехал в Секонди поискать работу и кое-как устроился в Британский банк Западной Африки. Я писал Яу Ману, и он иногда отвечал, хотя в письмах его и не чувствовалось особой сердечности.

На следующий год Яу Ману опять провалился. Он пришел к своим церковным покровителям и заявил, что непременно поступит через год, если ему позволят остаться в школе. Святые отцы заверили, что Яу Ману хоть и лучший их ученик за все время, но они вынуждены ему отказать. Если он сохранит добродетель, то господь его не оставит. Они советовали ему не отчаиваться, ибо господь наш Иисус Христос никогда не ходил в среднюю школу и, разумеется, не имел возможности сдавать экзамены на кембриджский

аттестат; Петр, первый апостол, был простым рыбаком, а святой Иосиф — всего лишь бедным плотником. Могу подтвердить, что Яу Ману действительно хороший, даже очень хороший христианин, и он сам все это знал. Тем не менее у него была мечта — выбиться в люди, а для начала — уехать в Англию и продолжить образование. Он очень огорчился, что ему не позволили остаться в школе еще на год, но что поделаешь... и он приехал в Секонди искать работу. Управляющий банком не придираясь принял его.

Мне ли не знать, что банковского служащего счастливым не назовешь, но должен признаться, что даже мне поведение Яу Ману казалось странным. Не то чтобы он был плохим работником, скорее наоборот. Аккуратнее всех вел учетные книги, никогда не опаздывал — ни единого раза, а если брал бюллетень, то лишь в тех случаях, когда действительно болел. Но он никогда не смеялся и не шутил вместе со всеми, а уж у нас, банковских клерков, поводов для этого хоть отбавляй. Уж сколько проходит перед нами разных людишек, и смешных, и грязных, и отвратительных, которые и богатыми-то не выглядят, а счета их растут тем не менее как на дрожжах, и, глядя на них, мечтая о лишней копейке, нам ничего другого не остается — только смеяться.

Но Яу Ману никогда не смеялся вместе с нами, даже над той женщиной, которая так тряслась над своими деньгами, что каждую неделю являлась в банк и просила их пересчитать. Да мы и друг над другом постоянно подшучивали. Так, например, когда управляющий впервые дал указание всем приходиться на службу в галстуках, мы все ворчали, что это, дескать, Золотой Берег, тропики, а не холодная Англия с ее Арктическим морем. Прямо так и сказали. И что же управляющий? Он засмеялся и спросил: «А эскимосов в Англии, случайно, нет?» И мы засмеялись в ответ, даже не знаю почему. Все, кроме Яу Ману. Он продолжал аккуратно выписывать в столбик все новые и новые цифры. Потом, когда наши богатенькие клиенты стали из-за этих

галстуков называть нас «сэрами», мы постоянно посмеивались и подшучивали над этим — все, кроме Яу Ману.

А еще я помню один забавный случай. Наш банк был расположен в европейской части города — в обед мы не успевали ходить домой и поэтому еду приносили с собой. Понятно, что банковским служащим как-то не пристало открыто таскать обеды через весь город, поэтому мы обзавелись вместительными жестянками из-под табака, куда и прятали еду. Трубка в зубах хорошо сочеталась с жестянкой и коробкой спичек. Но вот однажды на одного из нас, Джеймса Саки, жуткого воображалу, который за это получил кличку Янки В Квадрате, по дороге на работу налетел мальчишка-велосипедист. Ерундовый случай, но вы же знаете наш народ. Саки еще и упасть не успел, как вокруг уже собралась толпа. Бедняга попытался удержать свою коробку, но она, увы, выпала у него из рук и раскрылась. И при всем честном народе из нее вывалилось — что бы вы думали? — рагу с арахисовой подливкой. Ничего себе! Толпа просто со смеху покачивалась. Когда Саки пришел в банк, мы уже обо всем знали и от души над ним смеялись. Все, кроме Яу Ману.

Я не думаю, что сам банк или работа в нем действовали на него удручающе. Собственно говоря, банковская суета его совсем не волновала. Дело было в другом — Яу Ману по-прежнему упрямо грыз гранит науки и надеялся поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение в Лондоне. Я убедился в этом, попав к нему домой. Когда бы я к нему ни зашел, он вечно что-то зубрил. Над его письменным столом красовалась некая сентенция о великих людях. Мне запомнились две последние строчки:

...пока товарищи их спали,
они трудились ночи напролет.

Именно это и пытался воплотить в жизнь Яу Ману. Он с гордостью заявил мне, что записался на заочные платные курсы сразу в два места. Он разъяснил, что обычно людям достаточно одних курсов, он же предпочел удвоить количество уроков, чтобы дела шли быстрее. Кроме того, он

подписался на один английский журнал под названием «Психология», чтение которого должно было поддерживать его морально и открыть секреты успеха и здоровья. Он даже дал мне почитать один номер. Журнал произвел на меня неизгладимое впечатление. В нем было полно разных умных слов, и я с трудом понимал, о чем идет речь. Яу Ману сказал, что это неудивительно — ведь я не читаю журнал регулярно.

— Посмотри-ка сюда, — сказал он, указывая на большую банку в кладовке для продуктов. — Это «Бимакс», пью, чтобы прочищать мозги. Очень эффективное средство, потому и дорогое. Это специально для тех, кто работает головой. За ночь жутко изматываешься, но выпьешь «Бимакс» и свеженьким идешь себе на работу. Я пью и пилюли, стимулирующие работу мозга, такие, как «Про-Плюс» и кое-что посильнее. Заказываю их в Англии, и кучу денег стоят.

Я поинтересовался, не повредит ли все это его здоровью.

— Ну что ты! — воскликнул он. — Кстати, вот что я еще заказал. — Он показал мне каталог с разными картинками и обратил внимание на одну, где были изображены веревки и брусья и еще множество странных вещей. — Из Америки. От Чарльза Атласа, знаешь ли. Так сказать, в здоровом теле здоровый дух.

Когда Яу Ману переехал в Секонди, он перестал ходить в церковь и гораздо меньше разглагольствовал о милосердии всевышнего. Я поначалу решил, что теперь с ним легче будет жить, но ошибся. Хотя он и не вещал, как священник или учитель Закона божьего, зато толковал о том, что понять было невозможно, и я чувствовал себя не в своей тарелке, выслушивая его новые теории. Он сказал, что пересмотрел свои убеждения, но когда я поинтересовался, в каком плане, то ничего внятного не услышал, хотя Яу Ману и употребил множество высокопарных слов вроде «позитивный», «рациональность», «стратегическое усилие». Его комната была завалена книгами, разными бумагами и этими пилюлями, которые, если верить ему, так полезны для мозгов. Пилюли от английских врачей снабжались

перспектами, свидетельствующими об их огромных возможностях. На картинках были изображены люди в длинных белых халатах, держащие перед собой разные приборы для тестирования.

Но, несмотря на все это, Яу Ману каждый раз заваливал экзамены. Он ничего об этом не рассказывал, но и так нетрудно было обо всем догадаться. Каждые полгода он просил предоставить ему внеочередной отпуск — так мы узнавали о начале экзаменов. Выйдя на работу, он около месяца держался спокойно и с большим достоинством, как человек, владеющий великой тайной. Однако за всем этим ничего не следовало. Ведь если бы он выдержал экзамены, то немедленно попросил бы повышения по службе или как минимум прибавки к зарплате. Но он оставался на той же должности, получая, как и мы, раз в год традиционную надбавку в десять шиллингов. Вот и вышло, что он по уши влез в долги, чтобы платить за все свои пилюли, книги и заочные курсы. Те, кто рассуждает как восточные мудрецы, задаются вопросом, почему же Яу Ману не попросил ссуды в своем собственном банке, а обратился к ростовщику с его грабительскими процентами. Наивный вопрос, который кажется мудрым лишь с первого взгляда. Мы, банковские клерки, должны быть одинаково щепетильны как с личными, так и с банковскими деньгами. Что подумал бы о нас управляющий, узнай он, что мы живем не по средствам? Может, Яу Ману и сваял дурака, когда поступал на разные там курсы, покупал дорогие книги и эти пилюли, но постольку, поскольку он мечтал о карьере, то был абсолютно прав, обратившись к ростовщику. Многие молодые люди, рассчитывая устроиться в жизни, добывают деньги таким образом, а когда чего-то добиваются, им обычно не составляет большого труда вернуть то, что они задолжали. Очень жаль, что пилюли, которые принимал Яу Ману, не настолько прочистили его мозги, чтобы он все-таки смог сдать экзамены. Но до самого конца он трудился не покладая рук. Может, если бы он время от времени позволял себе отдых, то не довел бы себя до такого истощения. В конце

концов, как говорят, работа дураков любит. Когда приходится так много учиться, уже плохо, ну а если нет ни девочек, ни выпивки, ни танцев, кто такое выдержит?!

Я никогда не соглашусь с тем, что Яу Ману тронулся умом. Так могут говорить только те, кто мало его знает. А кое-кто просто утверждал, что у Яу Ману воспаление мозга от избытка мыслей, но уж чего-чего, а этого избытка у него явно не было.

Его как настоящего больного даже посылали на обследование в психиатрическую лечебницу в Аккру. Если бы я хуже его знал, возможно, тоже подумал бы, что он спятил. Должен признаться, что если посмотреть на поведение Яу Ману со стороны, то вряд ли сразу поймешь, что к чему. Именно такую ошибку и совершил репортер «Дейли грэфик». Он сообщил о чисто внешних поступках Яу Ману, а это еще не вся правда. Я храню статью о процессе, и хотя все факты в ней вроде бы изложены правильно, она, на мой взгляд, несправедлива.

«Секонди, 14 июня. Сегодня городской суд приговорил 26-летнего служащего банка к трем годам заключения в психиатрической лечебнице. В течение всего процесса обвиняемый, некто Яу Ману, не произнес ни единого слова. Совет присяжных признал его виновным, хотя и просил о снисхождении на том основании, что умственные способности обвиняемого, совершенно очевидно, подорваны.

По утверждению свидетеля обвинения, м-ра Маккарти, управляющего окружного Британского банка Западной Африки, Яу Ману проработал в банке более 18 месяцев и в течение этого срока вел себя безупречно, был точным, вдумчивым, аккуратным и внимательным работником. До 6 мая текущего года обвиняемый не совершил ничего, что могло бы вызвать хоть малейшее подозрение на его счет.

Как заявил м-р Маккарти, 6 мая в 14.27, просматривая в конце дня банковские книги, он увидел, как обвиняемый м-р Ману взял двенадцать пачек денег, всего на сумму 1 150 фунтов стерлингов, и направился к выходу. Казалось,

он не слышал криков свидетеля, а когда м-р Маккарти преградил ему путь, обвиняемый без единого слова, твердо и с неожиданной силой оттолкнул его. «Он действовал словно в каком-то трансе», — добавил м-р Маккарти.

Совершив кражу, обвиняемый направился домой. М-р Маккарти заявил, что, учитывая странное поведение обвиняемого, он некоторое время колебался, вызывать ли полицию. В конце концов он решил «подождать и посмотреть, что принесет с собой новый день. Психология — мое хобби, и поведение парня чертовски меня заинтересовало».

Судья указал управляющему банком, что тот в данном случае поступил неправильно: полицию надо было вызвать немедленно. Замечание было принято благожелательно. Заседание суда продолжалось.

На следующий день, согласно утверждению свидетеля, обвиняемый пришел на работу и «вел себя так, будто ничего не произошло». И только тогда была вызвана полиция. Обвиняемый, словно снова впад в транс, пытался уйти от полиции, но был задержан. Его дом обыскали, и все пропавшие 1 150 фунтов нашли нетронутыми.

Согласно официальным источникам, «дело м-ра Яу Ману заслуживает особого рассмотрения, а обвиняемый будет направлен в психиатрическую лечебницу г. Аккры».

Так вот, в этой заметке детали изложены правильно, но они не дают полной картины. Репортер даже не упоминает, что Яу Ману взял деньги в рабочее время. Каждые две недели мы должны были приводить в порядок банковские книги. Часами просиживали, исписывая листы рядами цифр, черных и красных. Для клиентов это были настоящие деньги, а для нас, клерков, — всего лишь бесконечные столбцы цифр. Они напоминали полчища муравьев, которые безостановочно ползут сквозь твою голову, лишая тебя сна и покоя. Частенько эти цифры снились мне по ночам, превращаясь в орды муравьев, пожиравших мои мозги, раздиравших их на части, чтобы построить себе муравейник.

Должен сказать, я часто думал о том, что предпринял бы, будь у меня хотя бы половина тех денег, что у некоторых

других. Все мы иногда об этом мечтали, и я уверен, что любой из банковских служащих охотно уехал бы учиться в Англию, окажись у него достаточно денег. Все мы были честными ребятами, жили без особых долгов, и каждый из нас порой подвергался искушению. А что касается Яу Ману, то хоть он и был честным парнем — уж по крайней мере честнее меня, — все же тратил не по карману — уж сколько стоили одни эти пилюли, книги и курсы, а тут еще бесконечные попытки попасть в Англию, да еще и долги ростовщику, который прямо-таки жаждал его крови.

Меня не было в банке, когда Яу Ману украл деньги. Обычно в два часа мы уже разбегались по домам, а он частенько задерживался, поэтому и в тот день его задержка не вызвала никаких подозрений. Помнится, что, когда я уходил, Яу Ману был в туалете, и, надо сказать, давно уже зашел туда.

А на следующий после кражи день он совершил нечто совсем из ряда вон выходящее. Он опоздал! Более того, придя наконец на работу, он еще что-то насвистывал. Его немедленно вызвали к м-ру Маккарти, и прошел слухок, что Яу Ману решили наконец-то повысить в должности!

Однако когда мы услышали, как он выкрикивает оскорбления в адрес управляющего, то поняли, что дело дрянь. Вскоре появился и наш герой. Он был взбешен и постоянно повторял: «Я тебе покажу, как называть меня вором!»

Следом за ним, красный от возмущения, выскочил сам м-р Маккарти. Он велел вызвать полицию и приказал не выпускать Яу Ману из банка и, главное, держать его подальше от конторки. И тут Яу Ману вспомнил, что мы с ним друзья. Он обратился ко мне на языке фанти, попросил взять нечто в ящике его конторки и отнести это в туалет. В ящике я нашел кожаный ремешок с прикрепленными к нему раковинами каури и другими талисманами. Как верный друг, я все это доставил в туалет, куда вскоре пришел и сам Яу Ману.

Получив талисманы, он стал совсем другим человеком:

спокойным и исполненным достоинства — ну прямо священник у алтаря. Шествуя мимо нас к выходу, он, казалось, просто никого не замечал. Но тут как раз прибыла полиция с намерением задать ему кой-какие вопросы. Он же, не утруждая себя ответами, хотел во что бы то ни стало выйти на улицу. Он все пытался отстранить полицейских какими-то странными, как в замедленной съемке, движениями. Вот что имел в виду м-р Маккарти, когда говорил, что Яу Ману был в трансе! Полицейские повалили Яу Ману на пол и заломили ему руки за спину — а он так и не проронил ни единого слова.

Как только разрешили, я навестил Яу Ману в полицейском участке. Судя по виду, ему здорово досталось, и он с трудом говорил. Передав мне кожаный ремешок с амулетами, он попросил отнести его маламу.

— И скажи ему, что я сделал все, как он велел, но это не помогло. Напомни, кстати, чтобы вернул мои двадцать пять фунтов.

В темной затхлой комнате малам приветствовал меня как родного брата. Я еще не успел разглядеть его самого, а он уже взял меня за обе руки, долго смотрел на мои ладони и горестно произнес:

— О друг мой, тебя преследуют злые духи, много, очень много злых духов.

Я ответил, что пришел не за предсказаниями, а для того, чтобы вернуть амулет и получить заплаченные за него деньги. Я уже начал привыкать к темноте и сейчас различил, как малам, прищурившись, разглядывает свой амулет. У него были огромные маслянистые глаза, и веки едва их прикрывали, а когда он говорил, то словно проталкивал слова сквозь иссохшие губы, которые постоянно облизывал.

— Ты хочешь знать, какая сила в моем гри-гри? — спросил малам, вглядываясь в меня. Я кивнул. — Дай шиллинг — скажу. — Любопытство взяло верх, и я дал ему шиллинг. Зажав монету в руке, он сказал:

— Дай двадцать пять фунтов. Дам тебе амулет. — Я еле удержался от смеха и ответил, что не могу покупать kota

в мешке. Малам подозрительно на меня взглянул, закрыл глаза и как-то забавно, нараспев запричитал: — На руку наденешь, скажешь, что велю,— станешь невидимым. Что хочешь делай — никто не увидит. Ты — как воздух, прозрачный, незаметный. Хочешь такой гри-гри?

Я разозлился, потому что этот тип и мне пытался пудрить мозги. Похоже, я почти орал, потому что малам выпучил глаза.

— Видишь, ли, малам, мой друг просил передать тебе следующее: он все твои штучки испробовал, но ни одна так и не сработала.— Когда я закончил свою речь, колдун уже овладел собой и прикрыл глаза.

— Он где-то, видать, ошибся. Ошибся, мой друг. Эти гри-гри очень хорошие. Он точно ошибся, мой друг.— Малам настойчиво твердил о надежности амулета, прямо-таки навязывал его мне, обещая, что я стану невидимкой.

— Мой друг,— твердил малам, облизывая губы,— ты не хочешь получить деньги? Ты будешь богатый. Ты берешь гри-гри, и раз — стал невидимым и делай, что хочешь. Давай, давай, мой друг. Тебе скидка. Всего двадцать фунтов.— Я покачал головой. Я уже решил заявить в полицию.— Смотри, мой друг, пожалеешь,— настаивал он.— Восемнадцать фунтов.— Я был уже у двери, но малам не отставал: — Пятнадцать фунтов, мой друг! — И я выскочил на улицу.

К моменту «десять фунтов, мой друг» я уже проделал половину пути до полицейского участка. Впервые мое имя смогут увидеть на страницах «Дейли грэфик». Люди прочитают о некоем человеке, который выступит как свидетель обвинения, но интересно, многие ли мои однокашники поймут, что речь идет обо мне? Очень хотелось бы узнать.

Отбросы

Из родного дома она уехала совсем ребенком. Женщину, которая пришла за ней, она видела впервые, но мать

знала ее. И взрослые всю ночь просидели за разговорами о девочке. Ей предстояло помогать хозяйке по дому, и если все пойдет хорошо, она будет прилежной и послушной, то сама когда-нибудь станет настоящей госпожой.

До шоссе добирались пешком, рассчитывая, что попутная машина подбросит их в город. Шли втроем: мать, госпожа и сама девочка. Ей-то было не привыкать — каждый день ходила к ручью за водой, а это подальше, чем до шоссе. А вот госпожа устала очень быстро, к тому же она потела, это ее злило, и почти всю дорогу никто не проронил ни слова. Один шофер сказал, что в кабину к нему нельзя. Но не ехать же госпоже в кузове — и они стали ждать следующего грузовика. Стояла жара, и девочка обрадовалась, когда наконец какой-то шофер согласился их подвезти. Зажатая между взрослыми, девочка не могла даже смотреть по сторонам. Мать сказала, что иначе ее бы укачало.

Первый день в городе девочке понравился. Мать привезла с собой всякой еды, и госпожа щедро ею распорядилась. На второй день, когда мать уехала, работы было куда больше и кормили уже не так обильно. Теперь девочка ела уже отдельно от хозяйки и двух ее детей. Потом помыла посуду, сходила за водой к городской колонке. Дни шли за днями, работы становилось все больше, и девочка наконец поняла, что вся работа по дому предназначалась ей одной. Еды давали все меньше и меньше, хватало только червячка заморить, и голод стал теперь постоянным спутником. И чем меньше хозяйка ее кормила, тем чаще приговаривала: «Ешь в меру. Еда денег стоит!» Девочка робко улыбалась, опускала глаза и работала, работала...

На рынке, куда она каждый день ходила за продуктами, девочка наблюдала за мамми — рыночными торговками. В мечтах она видела себя одной из них: в новеньких, хрустящих нарядах, напевающей, улыбающейся или хмурящейся — смотря по настроению; толстеющей в достатке; хочет — отдыхает, а ест — что душе угодно.

Как-то мать обмолвилась, что хочет заняться перепродажей вещей, и мечты об этом не давали девочке покоя...

Однажды госпожа похвалила малышку за работу, и та решила, что пробил час, но ее слова почему-то страшно разозлили госпожу. Гневно сверкая глазами, она орала: «Ишь чего захотела! Может, мне еще в служанки к тебе наняться?»

Девочка пролепетала: «О пожалуйста, простите». И услышала в ответ: «Чтобы я больше не слышала ничего подобного!»

Пропасть между хозяйкой и ее маленькой служанкой стала еще глубже. Работа настолько изматывала девочку, что у нее не оставалось сил негодовать, а вынужденное молчание даже означало определенную степень безопасности — по крайней мере она знала, что никого не раздражает своими словами. И хотя вслух она уже ничего не говорила, наблюдая за рыночными торговками, мечтала стать одной из них — богатой и свободной.

Ну когда наконец госпожа позволит ей торговать? Когда наконец разрешит ей жить по-человечески?

И вот ей повезло. Конечно, это было не то, о чем она мечтала, но лиха беда начало. Пойдут дела, глядишь, дадут что-нибудь получше. Отныне ей предстояло продавать тигровые орехи — атадве. Днем — заботы по дому, а вечером, после того как хозяйка, ее муж и дети ложились спать, девочка выходила к автобусной остановке и располагалась под фонарем. Первые вечера прошли впустую, и, сидя в тусклом свете фонаря, она больше всего хотела спать. Но постепенно люди начали у нее покупать. Приходили и соседские мальчишки, выпрашивали орехи, но она им ничего не давала. Не получив, что хотели, они все время дразнили ее. А когда им это надоедало, усаживались вокруг и болтали. Потом вдруг кто-то из них вскакивал, хватал горсть орехов, и все с криками пускались наутек. И так повторялось, пока об этом не узнала хозяйка. Она пришла в бешенство и обозвала девочку воровкой и растяпой. Так закончилась для нее торговля тигровыми орехами.

А голод между тем все чаще давал о себе знать. Работы

было столько, что девочка с утра до вечера не разгибала спины, за исключением разве что тех дней, когда приезжала мать. Хозяйка тогда рассказывала, что дела идут неплохо, что она научила девочку тому и сему, ну, конечно, всякое бывает, но, в общем, малышка справляется. Тогда мать доверчиво, с восторгом и радостью спрашивала: «Это правда, Араба, это правда?» — «Да, мама, это правда». — И боль, которую причиняла ей эта маленькая ложь, постепенно отступала, стоило ей только представить, что обрушится на нее, если она скажет правду.

Сезон тигровых орехов кончился. Хозяйка все чаще жаловалась на безденежье. И вот она повела девочку в супермаркет, где можно было приобрести всякий импортный товар. Там они купили большой ящик, набив его печеньем «Кэбин» и сигаретами «Плейерс». Хозяйка сказала, что то и другое можно на побережье продавать рыбакам из племени эве. Пачка печенья дает доход в шиллинг, пачка сигарет — 5 пенсов.

— Так что поворачивайся, — наставляла хозяйка, — да не зевай. А то эти эве воруют, как обезьяны.

В первые недели девочка продавала по пачке печенья в день — рыболовный сезон был в разгаре, и берег просто кишел людьми: они рыбачили, продавали, покупали и просто развлекались.

В сезон дождей в городе просто невыносимо. В деревне дождь падает на густые кроны деревьев, и они гасят его разрушительную силу. Вода насыщает листья, ветви, и только потом капли медленно скатываются на мягкую, покрытую палой листвой землю. А в городе деревьев нет. Земля жесткая, покрытая слоем пыли, и мощные потоки дождя обрушиваются на нее с монотонным гулом, смывая остатки почвы, обнажая каменистый слой. Даже море мрачнеет и хмурится. Оно словно разбухает и подступает все ближе и ближе, волны зарождаются все дальше от берега, поднимаются все выше и с глухим ревом обрушиваются на песок. Пляжи залиты грязной водой. Рыбаки оттаскивают свои

лодки подальше от полосы прибоя на твердую землю, а сами отправляются в родные деревни до нового сухого сезона.

Вот и теперь близился сезон дождей. Кое-где у моря еще можно было встретить рыбаков, но найти их было ой как не просто. Арабе приходилось побегать. Да и не до покупок было сейчас рыбакам, занятым лишь своими сетями. Девочка устала таскать ящик с товаром, ей очень хотелось есть. Она смотрела, как до седьмого пота бьются с сетями рыбаки, и ее пустые кишки, казалось, стягивались в болезненный комок, потом боль уходила, ненадолго отпускала и вновь возвращалась. Она не раз подумывала о печенье, но старый страх довлел над ней: печенье есть запрещено. Вот опять накатила боль и на этот раз уже не отступала. Она взяла печснинку, бездумно положила в рот и медленно съела. Потом еще две. Боль отступила, но на ее месте возникла сосущая пустота, и горло сдавило тошнотой. Девочка съела еще три печенинки. А между тем забросили невод. Откуда ни возьмись, вокруг рыбаков собралась целая толпа людей, от которой отделились четверо мальчишек и направились к ней.

— Печенье хотите купить? — спросила она.

Они закивали головами.

— А деньги есть?

— А мы тебе рыбой заплатим.

— Не нужна мне ваша рыба.

— Ты же потом ее продашь.

— Все равно не нужна.

Мальчишки засмеялись и отошли. Они стали помогать рыбакам выбирать карман невода. Ритм рыбачьей песни, звучавшей над пляжем, все убыстрялся. В мощном прибое то появлялись, то опять пропадали поплавки. Чайки кружили прямо над толпой. Пение рыбаков вдруг сменили громкие крики. Мальчишек отогнали, и они вернулись к Арабе. Один из них выступил вперед.

— Ну что, еще не захотела нашей рыбы? — Араба колебалась, и мальчишка добавил: — В городе получишь за нее кучу денег.

Девочка с минуту помолчала и нерешительно произнесла:
— А я знаю, вам и рыбы-то не достанется. Вас же прогнали.

При этих словах ребята засмеялись, и Араба почувствовала себя неловко.

Тот же мальчик снова заговорил:

— Да ты нам не веришь? Ну пойдем, я возьму свою долю, и сама увидишь.

Девочка взглянула на ящик с печеньем:

— Я не могу это здесь оставить.

— Да ребята присмотрят, а то еще намочишь в море. Араба боязливо посмотрела на мальчишек, но вид у них был вполне невинный.

— Хорошо, пошли,— сказала она.— Только ты дашь мне побольше. Ладно?

Вдвоем они направились к воде. Время от времени Араба оглядывалась, чтобы убедиться в том, что ребята еще на месте. А те улыбались и радостно махали ей руками.

Перекрывая надрывные крики рыбаков, плеск мечущейся рыбы и вопли чаек, все ниже летавших над неводом, мальчишка затрепал Арабе в ухо:

— Я поищу хозяина. У каждого мальчика есть свой хозяин. Учитель. А вон он, на той стороне. Давай за мной.

Девочка неловко побежала за ним по мокрому песку. Она увидела, как мальчишка направился было к высокому мужчине, но почему-то проскочил мимо него и скрылся в кокосовой роще. В панике девочка бросилась к своему печенью и сторожившим его мальчишкам, но тех и след простыл.

Она привыкла к жестоким побоям, смирилась с ними и почти не чувствовала боли. Но к голоду привыкнуть не могла. Ее организм развивался, и против голода протестовало в нем все. Кое-что она ухитрялась прикупать на рынке. Мамми, у которых она обычно брала продукты — стоило с ними по-хорошему поторговаться,— уступали, вот и получалась экономия. Но госпожа как-то обо всем этом узнала, в ход пошла метла.

При виде метлы девочка выставила вперед руки, чтобы защитить лицо. Она заплакала. С губ ее слетело слабое: «Не надо, прошу вас, не надо метлой». Но удары только становились сильнее и сильнее. «Говори правду, — кричала хозяйка, — что ты ела на рынке? Тебя видела Бои! Хочешь, я ее позову?» Побои не прекратились, даже когда девочка во всем призналась. Глаза госпожи горели гневом и не сулили добра. Араба выбежала во двор и бросилась к калитке, но хозяйка гналась за ней по пятам, изрыгая проклятия. Вслед прозвучал приговор: «Чтоб я тебя здесь больше не видела! Воровка! Сучья дочь!»

Девочке негде было искать приюта, и когда в городе зажглись болезненные желтые огни, она направилась к рынку — за ним на стоянке грузовиков жизнь никогда не затихала. На костре какая-то женщина пекла келевеле. Девочку не прогнали, и она придвинулась к огню, чтобы согреться. Свернувшись клубочком и закутавшись, как могла, она заснула.

Вдруг кто-то грубо растолкал ее. Еще не проснувшись до конца, Араба увидела, что костер потух и прежних женщин нет. А вместо них — две совсем другие. Одна — в полицейской форме.

— Залезай, — скомандовала женщина-полицейский, а вторая при этом засмеялась. Рядом стоял грузовик с крытым верхом. Из кабины вылез мужчина, взял Арабу и, приподняв, втолкнул в кузов. Женщина в полицейской форме уселась рядом, и ей пришлось снова будить Арабу, когда машина подъехала к воротам Исправительного дома.

Пехоже, сторож спал, потому что второй женщине пришлось довольно громко стучать дверным молотком, прежде чем открылось маленькое оконце. Послышался сонный старческий голос:

— Кто там?

— Открывай! — властно крикнула женщина.

Старик открыл калитку, засуетился, пропуская женщину с девочкой. Женщина сурово спросила:

— Ты спал?

— О нет... начальник... мадам.

— Лжешь.— Старик молчал.— Ты лжешь,— повторила женщина.

Сторож неуверенно забормотал:

— Миссус, мало-мало спал. День ноги ходил, весь день. Мало-мало устал.

— Мы платим тебе за то, чтобы ты сторожил, а не спал.— Голос женщины звучал уже не столь сердито.

— О миссус, конечно, миссус.

— Покойной ночи, сторож. И чтоб не спать!

Девочка последовала за женщиной в какую-то длинную комнату, где слышался храп спящих людей. Они остановились у свободной кровати.

— Это твоя,— сказала женщина,— ложись. Когда она ушла, послышалось чье-то возбужденное перешептывание, но девочка слишком хотела спать, чтобы прислушиваться.

Хотя жить в Исправительном доме, особенно в первое время, было довольно тягостно, у Арабы отлегло от сердца, когда хозяйка отказалась взять ее обратно. Поначалу другие девушки ловко сваливали на нее всю работу, но потом появились новенькие, и теперь Арабу оставили в покое. Соседки стали даже нравиться Арабе, по ночам она любила слушать их истории о том, как живет на свободе. Те, что были постарше, все время говорили о мужчинах и деньгах. А иногда хвастались, что им ничего не стоит сбежать отсюда. И действительно, время от времени кто-нибудь убегал. Тогда начальница кричала, бранила сторожа, а с оставшимися девушками была подчеркнута строга. Но проходило несколько дней, беглянок ловили, привозили назад, и начальница с ухмылкой изрекала: «Уж я-то знаю, где вас искать!» И все входило в обычную колею. Начальница никогда не задавалась вопросом, почему девушки совершают свои побеги всегда незадолго до того, как истекает срок их пребывания в Исправительном доме,— ведь такое нарушение отдаляло их освобождение. Ей и в голову не приходило, что хоть девушкам и нравились короткие вылазки в «большой мир», они все-таки предпочитали жизнь в Исправительном

доме и дружбу своих сверстниц. Ну, а если начальнице нравилось считать их дурами, то это и к лучшему.

Араба убегала дважды, и оба раза незадолго до того, как ее должны были освободить. Ей казалось, что она умрет от стыда, если ей придется уехать к родным. И вот скоро опять конец срока. Но на этот раз она уже не помышляла о побеге. Напротив, старательно работала, и начальница частенько ставила ее в пример: «Смотрите, из Арабы растет ответственная женщина».

Из-за этого отношения с подружками стали портиться, но ей это было безразлично. На первом месте оказалось теперь обещание начальницы отпустить Арабу без испытательного срока — разумеется, если девочка будет себя хорошо вести.

Она, без сомнения, вела себя хорошо, и это раздражало ее подружек, потому что они не понимали той перемены, которая произошла в ней после второго побега.

Она все держала в тайне. Даже начальнице не удалось ничего разузнать. В ту ночь девочки долго болтали о мужчинах. И, слушая их, Араба ощущала свою ущербность, потому что ей рассказывать было совершенно нечего. А между тем рассказы возбудили ее, как будто в них речь шла о ней самой, и ранним утром, когда она перелезала через заднюю стену во дворе Исправительного дома, в голове у нее был только один вопрос: что же это такое — жить с женщиной? Она спрятала форменное платье и чувствовала себя вполне естественно в одной рубашке и куске ткани, обернутом вокруг бедер. Солнце пекло немилосердно, дорожная пыль обжигала ноги. Очень хотелось есть, и она пошла к рынку.

На автостоянке с огромных грузовиков «Ашанти», покрытых толстым слоем красной пыли, сгружали съестные припасы. Араба подошла и стащила одно манго из огромной груды.

— А ну-ка положи на место.— К ней шагнул помощник

шофера, вытирая пыль с лица. Он осмотрел девочку с головы до пят: — Что случилось?

— Ничего,— просто ответила она.

— Ага, ты хочешь есть.

Она кивнула. Он выбрал три большущих спелых плода и протянул ей. При этом подошел поближе. И хотя на стоянке почти никого не было, он спросил, понизив голос:

— Спать-то тебе есть где? — Она не ответила, и он договорил: — Приходи сюда. В шесть.

Когда начало темнеть, она уже была там, где сказали. Парень пришел, и она направилась за ним через бесконечный лабиринт переулков, застроенных домишками из гофрированного железа. Они остановились у низкого маленького строения, словно вкопанного в землю. Парень вошел первым, включил внутри свет и позвал ее. В комнате было сыро. Со старой балки под потолком на голом проводе свисала маленькая слабая лампочка. Провод был ветхий, под стать балке. Она заметила на нем густую паутину. Потолка не было, только крыша. Парень шагнул к задней стене и прислонился к ней. Потом указал на стоявшую слева кровать:

— Садись.

Девочка поглядела по сторонам: другой мебели, кроме кровати, не было.

— Как тебя зовут?

— Араба.

— Араба? — то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес он. Девочка кивнула, но ничего не спросила.

— Значит, Араба.— Парень еще с минуту постоял и направился к ней. Она не двинулась, но когда он взялся за шнур на ее талии, вдруг стала сопротивляться. Он попытался развязать узел. Она схватила его руки, и узел затянулся еще туже. Парень тяжело дышал. Потом негромко засмеялся.

— Думаешь, ты сильнее? — Он потянул энергичнее, но шнур оказался крепким. Парень засопел еще громче. Стараясь, чтоб не дрожала рука, он вынул из кармана ножик

и ни слова не говоря перерезал шнур и сдернул нижнюю юбку.

— Перережу и остальное,— сказал парень сдавленным голосом.

Девочка испугалась — ведь тогда все узнают в Исправительном доме — и запротестовала:

— Нет, нет. Я сама...— и, не договорив, поспешно сняла набедренную повязку, но все-таки сопротивлялась, когда он лег с ней в постель. Ведь по рассказам подружек, именно так и следовало вести себя с мужчинами. Не говоря ни слова, парень локтем резко ударил ее в бедро. Она притихла. Он удовлетворенно хмыкнул и неловким движением правой руки выключил свет.

А на следующее утро она познакомилась с Элизабет. Парень привел ее. Старуха жила в последней из комнат, выходящих в длинный коридор узкими зелеными дверями. Парень постучал, а потом позвал:

— Элизабет!

Откликнулся старческий голос:

— Кто там?

— Открой. Это я.

— Что-это-тебя-принесло-так-рано? — Последние слова Элизабет проворчала добродушно, на одном дыхании.

— Мне пора на работу,— ответил парень.— Я вот сестренку привел.

Послышалось мягкое, масляное «оооо!» — и появилась старуха. Седые волосы почти скрывали ее лицо. От неизменной улыбки морщины на нем стали очень глубокими. Язык беспрестанно облизывал голые десны. Она улыбнулась, девочке, и та ответила ей улыбкой. Парень сказал:

— Покорми ее и отправь домой. Тут ее держать нельзя.

Последний раз взглянув на Арабу, он повернулся и исчез. Старуха завела ее в комнату и уложила поспать. А днем дала поесть чего-то очень вкусного. Из других комнат приходили женщины, все молодые, и тоже были добры к Арабе. Они слушали ее рассказы, спрашивали о жизни, о родных, и вот Араба рассказывала им то, чем бы ни с кем и никогда

не рискнула поделиться. По их взглядам чувствовалось, что они ее понимают, и она любила их за это. А потом Элизабет сказала, что как ни жаль, но если Араба останется с ними и дальше, то у нее, Элизабет, будут неприятности с полицией. И мягко спросила:

— Но почему ты не хочешь вернуться в Исправительный дом? Сколько еще тебя там держать собираются?

— Год, а может, девять месяцев.— Араба точно не знала.

— Время летит быстро, деточка,— вокруг засмеялись, и она засмеялась вместе со всеми.— Если чего будет нужно, ты заходи. Заходи повидать нас.

Она добралась до центра города, куда всегда шли беглянки, желавшие, чтобы их вернули назад, в Исправительный дом. Старая Элизабет на прощание сунула ей в ладошку монету в два шиллинга. Араба купила себе риса, тушеного мяса, пирожное, ириску и все съела. Своим подружкам она могла бы теперь порассказать такое, о чем те и мечтать не могли. Вечером ее забрали. Женщина-полицейский была сурова, а начальница торжествовала:

— Я же говорила Вам, сержант. Я знаю, где ее искать.

И вот истек последний день, ее последний день в Исправительном доме. Она собиралась к Элизабет. Она так часто думала о заведении старухи, что уже считала его своим домом.

Элизабет сидела у дверей собственной комнаты, когда появилась Араба. Старуха вскочила и бросилась ей навстречу:

— Ах деточка, ты вернулась,— и радость на ее лице была совершенно искренней. Взволнованная Элизабет все спрашивала, не хочет ли дорогая гостя отдохнуть, поесть или хотя бы попить. Она принесла охлажденной воды и все спрашивала, спрашивала, спрашивала. А в конце поинтересовалась: — А чем ты собираешься заниматься?

— Я бы хотела торговать,— ответила Араба.— На рынке.

— Так сразу?

И Араба кивнула в ответ.

Старуха затряслась от смеха. А когда наконец успокои-

лась, то проковыляла в комнату, принесла маленький ключик и протянула его Арабе. Указав на одну из дверей, сказала: — Это твоя комната.

Арабе комната понравилась. Она была хоть и маленькой, но опрятной. Почти все пространство в ней занимала кровать с белыми простынями и двумя большими подушками. На столике в углу стоял красивый вентилятор. Между столиком и кроватью, под маленьким окошком, — стул. Приятно пахло чем-то сладким.

Позже Элизабет рассказала другим женщинам, что Араба мечтает стать рыночной торговкой. Все долго и громко смеялись. Кто-то сквозь смех произнес: «И нам бы этого хотелось, да где взять денег?» Смех стал громче, и еще кто-то объяснил: «Все эти мамы, с чего они начинали? Вот с этого». И женщина опустила большой палец вниз, показывая куда-то между своими бедрами. Смех перерос в гогот.

Потом Элизабет попыталась объяснить ей, в чем дело, но она уже все поняла сама. И когда старуха спросила: «Ну, так хочешь остаться?» — Араба уже не колебалась: «Конечно. Ведь вы же мои друзья». — «Тогда тебе надо немного отдохнуть». На мгновение в глазах Элизабет мелькнуло что-то похожее на сострадание, но Араба уже была готова к своей судьбе.

— Не обязательно, — просто сказала она.

Вечером пришел ее первый клиент. Это был огромных размеров детина, и Араба сначала даже зажмурилась от ужаса. Она убедила себя, что со временем ей это понравится, а сейчас надо просто подавить охвативший ее страх. Она кивнула мужчине и шагнула к маленькой двери. За широкими бычьими плечами клиента она увидела доброе лицо Элизабет. Старуха ободряюще улыбнулась. На миг в памяти всплыли бетонные опоры Исправительного дома.

— Заходите, — выдавила она сквозь зубы.

Мужчина отхаркался, сплюнул и шагнул в комнату. Дверь закрылась, в глазах девочки все погасло, осталась только добрая улыбка Элизабет.

Ама Ата Айду

Перемены...

Тук... тук... тук...

- Да-да?
- Масса, масса, масса...
- Ну что такое?
- Велели в восемь будить. Восемь уже.
- Хорошо, спасибо.
- Тук... тук... тук...
- Мг?..
- Масса... Масса... Масса...
- О господи!
- Сами велели разбудить. Давно уже восемь-то.
- Ладно, спасибо, Зиригу.

— Станный он, этот молодой господин. Сильно устал, видать, а вот поди ж ты, буди его в восемь, и все тут. И что здесь в такую рань делать-то? Должно, он из тех, что отдыхать и вовсе не умеют. Не гляди, что образованные.

— Зиригу, муж мой, ты иной раз и впрямь будто дитя малое. Ты что же думаешь, те, что в школу ходили и большими господами стали, все одинаковые?

— Да нет, Сету, ты уж напраслину на меня не возводи. За эти годы я уж как-нибудь научился различать тех, что приезжают сюда. Вот я и говорю: этот из другого теста.

— Че ж в нем такого особенного-то?

— Ну-у, во-первых, вовсе не пьет. Ни разу принести чего крепкого или в городе купить не попросил.

— Может, верующий он?

— Ну нет. Он с побережья. Что-то не много я встречал мусульман среди тамошних господ. Да и не об этом я. Эти

твои верующие — может, некоторые и не пьют, да и то не все, — ничем от других и не отличаются вовсе.

— А я вот заметила, он женщину с собой не привез.

— Ага! Поняла, значит?

— Что поняла?

— Что этот не такой, как другие.

— Может, и другой. И слава богу, что не привез какую-нибудь из этих расфуфыренных воображал... Индейки раскормленные. О Аллах!

— Что это ты, Сету?

— Да я все об этих девчонках.

— Это, жена моя, потому, что тебе делать нечего совсем. Или каффу* не понесешь на рынок сегодня?

— Не понесу. Мука вся кончилась. Да и уши очень уж ночью разболелись. Аллах свидетель, долги-то у меня, как и у всех, конечно, есть, да не убьют же меня соседи, коли не отдам я долг прямо сегодня. Вот я и думаю отдохнуть от тяжелой корзины, а может, и к доктору сходить. Да и что уж я там наторгую?

— Мда-а, что-то ты разговорилась нынче.

— Да. И по мне, девки эти — форменное безобразие. Или ты, муж мой, не согласен? И не смотри на меня так! И ведь не бездомные какие! Или у них отца с матерью нет?

— О чем это ты, Сету?

— А о том, что мир, видно, перевернулся, коли девчонки совсем, молоко на губах не обсохло, а спят с мужчинами, какие им в отцы, а то и в деды годятся. Нет, только подумайте, а! Все это видят, и никто слова не скажет.

— Но мужчины-то эти — большие люди. Деньги у них водятся. Машины, волосы фальшивые и вещички там всякие, что они от белых привозят. Девчонкам и нравится.

— А матери их куда же смотрят?

— А что матери-то? Некоторые и не знают ничего. Живут себе в деревне, а привозят им дочери дорогие вещи, так думают, важными дамами стали и денег, верно, много зарабатывают. А и узнают, как живут девушки в больших

* Каффа — местное название лепешек.

городах, так виду не подают, боятся.

— Дочерей своих боятся?

— Так те ведь на такое нагляделись — матерей не пощадят.

— О Аллах!

— А больше всего боятся они мужчин этих богатых. Большая у тех власть, Сету, жена моя, и если кто им поперек дороги встанет... Тут не только дочь не пожалеешь!..

— О Аллах, в какое время мы живем!

— Мм. А раньше-то не так было? Разве не всегда господа брали, что хотели? Женились на девочках.

— Не знаю, Зиригу. Наверное, ты правильно говоришь. Но на то была воля Аллаха: женщина — раба мужняя. Но эти-то новые бесстыдники — не верующие они. И Аллах тут вовсе ни при чем.

— Что это ты такое говоришь, жена моя? Господин, он и ведет себя как господин. Как еще ему себя вести? Или ты думаешь, новые господа не станут делать того, что делали старые? А когда белые здесь правила, разве они иначе поступали? Не брали себе малолеток в наложницы?

— Не знаю, Зиригу, не знаю, муж мой. Все это так. Но послушай, муж мой. Вот приходит в один недобрый день человек, потихоньку отбирает твой дом и землю и все не людски делает: весь ямс из амбара продает и на рассаду ничегошеньки не оставляет, яйца прямо из-под курицы варит, пирует с семьей и друзьями да твоих телят-ягнят режет. И хоть сердце твое кровью обливается, да сделать ты ничего не можешь. И так много-много проходит лет. Но вот, хвала Аллаху, ты получаешь все назад, и что же ты тогда делать станешь, муж мой? Продавать да убивать остатки своего скота и птицы? Курица яйцо снесет — сразу сварить? Все, что тот грабитель порушить не успел, по ветру пустишь?

— Не знаю, Зиригу, но слава богу, все дети мои — мальчики. Это хорошо, что нет у меня дочек. Да будь у меня дочь и узнай я, что какой-то богатый с ней развлекается, бесстыдник, я б его собственными руками на кусочки разорвала.

— Боже сохрани! Господи, да что это ты, Сету, говоришь

такое? Поболе остальных тебе теперь молиться в пятницу, отмаливать богохульство свое.

— Да, муж мой. Давай благодарить Аллаха за то, что дает он нам. Ведь вот не дал он мне дочь, и хорошо.

— Слава Аллаху, не все матери такие, как ты. Не то земля покраснела бы от господской крови.

— Кто же дурного человека жалеть станет?

— А как быть, если господа испокон веку плохими были? Неужто ты думаешь, люди спокойно смотреть станут, коли и новых господ убивать начнут? И у богатых, поди, дом есть, как у дочерей наших. А слуги едят там хорошо, потому что работают на большого человека, который знается с другими богатыми людьми... но хватит об этом, жена моя. Думаешь, все такие, как мы? Нет, Сету. Есть такие, что и пожалеют господина-то своего... Потому что если ты на стороне богатых, то всегда найдется кому за тебя словечко замолвить, в городе, например, у тех, что в больших домах живут. Вчерашние господа плохими были. Сегодняшние — хуже прежних. А уж завтрашние, будь уверена, тех и других переплюнут.

— Хватит, хватит, Зиригу. Меня аж озноб пробрал.

— Вот они, женщины! Не ты ли, жена моя, чуть ли не ножом размахивала, все на господские головы обрушиться хотела?

— Но что же делать-то?

— Откуда ж мне знать? Мое дело — поднести, прибрать, приготовить, постель застелить... Привезут с собой женщин — и за теми ходить стану. А что родители девчонок этих думают — этого, жена моя, не знаю.

— Да, Зиригу, теперь-то и я припомнила, что не все матери противятся этому, иные даже и рады вроде.

— Ага...

— Вот эта девочка Мунату, например...

— Ага...

— Где ее родные столько денег взяли, чтобы такой большой дом построить?

— Мм...

— Двенадцать комнат. Двенадцать! И водопровод прямо в доме. А те, кто туда заходил, говорят: коли своими глазами не увидишь, ни за что не поверишь, будто на свете есть мужчины и женщины, что в таких хоромах живут.

— Ага...

— Это что же выходит? На своих же дочерях наживаются? Отдают за милую душу господам, а то и сами предлагают?

— Мм...

— А такие, как мать Мунату, еще и рассказывают каждому встречному-поперечному, что их благодетель делает, что говорит...

— Гм...

— А сами-то прекрасно знают, что богач этот дочь их бросит, как только она надоест ему или другая покрасивее найдется.

— Мм...

— Плевать мне на господ таких, на матерей таких, на таких дочерей.

— Ну, жена моя, вижу, полегчало твоей душе, теперь я могу тебя оставить. Пойду разбужу молодого хозяина.

— А я буду к доктору собираться, пусть уши мои посмотрит.

Тук... тук... тук...

— Да-а?

— Масса, масса, масса.

— Да-а?

— Вы сказали: «Зиригу, разбуди меня в восемь». Прихожу в восемь, не встаете, позже прихожу — опять не встаете. А теперь уж вставайте, девять скоро.

— Но, Зиригу, дверь не заперта. Надо было войти и растолкать меня.

— Что вы, масса! Мне, Зиригу, когда вы спите, вас толкать?!

— Почему же нет?

— Что вы, масса!

— Ладно, не будем спорить. Спасибо, что добудился в конце концов.

— Только зачем вам вставать-то спозаранку? Что здесь делать-то?

— Ты прав, заняться здесь нечем. Форму терять не хочу. Нельзя себе поблажку давать. Непременно надо будет вставать пораньше. Да вот устал я, потому и переключиться сразу трудно.

— А зачем? Вам, масса, можно и поспать. Не на работу, чай. Я вот раненько встаю, понятно. А вам к чему? В контору ведь идти не надо.

— Зиригу, не все образованные люди работают в конторах.

— Нет разве?

— Нет, и на днях я обязательно тебе об этом расскажу и еще о том, почему не хочу слишком поздно вставать.

— Ну и ну! Кофе я не принес, боялся, остынет. Пойду подогрею.

— Не спеши. Вот умоюсь и приду за ним. И, пожалуйста, Зиригу, не опекай меня как маленького ребенка.

— Масса!

— Да и с какой стати ты должен за мной ухаживать? Ты мне в отцы годишься.

— Мой белый масса!

— Во-первых, я не белый.

— Масса!

— Послушай, кухня, например,— это твоя вотчина, и мне там делать нечего. Кроме того, я здесь гость и знаю, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но, черт побери, обращаться с собой как с немощным инвалидом я не позволю.

— Господь с вами, масса, не говорите так. Делайте, как хотите. Солнце уж высоко. Я для вас еще хорошее мясо купить хочу, поторапливаться надо, на рынок до полудня успеть. Скажите, что на завтрак приготовить. Омлет? Яйцо всмятку? Бутерброд с яичницей? Яичницу с беконом? Апельсиновый сок?

— Постой, Зиригу.
— Слушаю, масса.
— Я не буду завтракать. Апельсины у тебя есть?
— Не будете? Есть, у жены на кухне. Сейчас принесу.
— Я заплачу.
— Да это после. С рынка-то я вам получше принесу.
А другие господа все больше соки из бутылок пьют.

— Возможно, я и ненормальный, но у меня хватает здравого смысла, чтобы не пить гомогенизированный, рекристаллизованный, замороженный-размороженный, разбавленный и бог-его-знает-какой-еще апельсиновый сок, который привозят из стран, где апельсины и не растут вовсе, когда я могу их есть в натуральном виде.

— Что вы сказали, масса?

— Так, ничего, Зиригу.

— На мой взгляд, вы с вашими определениями хватили через край. Да, у нас домработницы и слуги, но при чем же здесь рабы?

— Из поколения в поколение значительная часть нашего народа, казалось, только и существовала для того, чтобы удовлетворять нужды белых мужчин и женщин. Разве этого мало? Разве это не иссушает душу? Разве должны они и к нам относиться так же, как к белым хозяевам?

— О чем это вы? Существующее положение вещей частично решает проблему безработицы. Или уменьшает ее по крайней мере. Можете себе представить, что произойдет, если все слуги лишатся работы.

— А платят им сколько?

— А что?

— И потом, большинство из них, домработницы в особенности, состоят в родстве с теми, кому прислуживают...

— Проблему эту, наверное, можно решать, только если отнестись к ней со всей серьезностью.

— Эй, официант, еще пива.

— Масса, я иду на рынок. Мяса вот хорошего купить хочу. Что бы вы хотели на обед?

— Я съем все, что ты приготовишь.

— Как насчет филе из телятины? Или тушеной печени агненка? Нет, лучше телячий эскалоп с луком и жареным картофелем.

— Зиригу, ты для кого готовить собираешься?

— Для вас, масса.

— Но я этого не ем.

— Все белые это едят.

— Зиригу, повторяю, я не белый. И если ты не перестанешь меня так называть, я соберу вещи и уеду.

О боже мой, да есть ли на этой земле уголок, где хоть немного можно забыться? Господи... даже испарина выступила, пот так и течет...

— Что с вами, масса? Вы весь мокрый.

— Здесь с самого утра жара.

— Позвольте открыть окна?

О господи!

— Масса, умоляю, вы так не делайте! Я-то знаю, здесь все как белые едят. Я уж пятнадцать лет для господ готовлю. Для министров, партийных начальников, что сюда приезжают, офицеров... И вам нужно есть, что и они,— еду белых.

— Зиригу, а что-нибудь из нашей еды ты можешь приготовить? На рынке наверняка есть все необходимое.

— Но я не знаю, что готовят там, откуда вы родом.

— А здесь, у вас, что готовят? Вот это и приготовь.

— Не умею, масса.

— И ты все эти годы проработал поваром?!

— Да. И свою работу знаю, масса, не губите! У меня уж голова поседела, другой работы мне не найти. Кому я нужен? Я знаю свою работу, масса, я хорошо готовлю то, что едят белые. Поверьте!

— Вот в этом-то и дело. Послушай. Ради бога, перестань думать, что я тебе яму рою. Я об этом и не помышлял. Но я, кажется, начинаю понимать. Ты учился и получил квалификацию повара для европейцев. А готовить африканские

блюда не умеешь, потому что сам африканец и к тому же мужчина, а кухня у нас обычно — дело женское. Другое дело — для белых готовить; это вполне мужская работа, а не просто возня на кухне.

— Масса, бог свидетель, я свою работу знаю.

— Ну конечно! Как африканец и женатый человек, то есть мужчина, ты, разумеется, готовить не будешь. А как чернокожий, ты считаешь себя слугой белого человека, а вовсе не мужчиной, и возиться на кухне для тебя не зазорно.

— Масса, масса. Вы меня считаете... женщиной?! Но это несправедливо, я не женщина, масса, избави боже!

— Ах, Зиригу. Я просто стараюсь понять. И, конечно же, не считаю тебя женщиной, бог тому свидетель. Мы с тобой скоро обо всем потолкуем.

— Только не называйте меня женщиной, масса.

— Нет-нет, не буду.

— Послушай, Зиригу, а твоя жена умеет готовить африканскую еду?

— А как же. Да вот только не знает, что у вас едят.

— Ну а здешнюю?

— Конечно!

— Очень хорошо. Тогда давай знаешь как сделаем? Посчитай мне как за обычный ужин и попроси жену включить меня сегодня вечером в число едоков за вашим столом, ладно?

— Что-о-о? Вы говорите... Что-что?

— Я говорю, не может твоя хозяйка покормить меня сегодня ужином?

— Вы, должно, шутите, масса.

— Нет, не шучу.

— Нет? Господи, вы будете есть туо*?

— А почему бы нет? Ем же я дома банка**. Практически то же самое. Только одно варят из риса, другое — из маиса. Из муки, крупы или чего-там-еще?

* Туо — маисовая каша.

** Банка — рисовая каша.

- Масса, а коли с вами случится что?
- Что же со мной может случиться?
- С животом-то кабы чего не вышло.
- Ты что же, маешься животом каждый раз, как ешь приготовленную твоей женой пищу? Что ты такое говоришь? А в крайнем случае, я же врач, ты знаешь.
- Знаю, мой молодой масса. Бывают, значит, большие люди, а вроде как мы... Так вы хотите есть туо?
- Да.
- Ну, как знаете.

- Се-ту! Сету-у-у! Где эта женщина? Сету-у-у!
- Что такое, Зиригу? Я мылась. Ты ведь знаешь, что я собираюсь к доктору.
- Послушай, жена моя. Я в жизни такого не слыхивал.
- Ну хорошо, но объясни ты толком, о чем речь-то!
- Эх, Сету-у... С чего бы начать-то?
- Может, до вечера подождешь? А то мне...
- Нет... нет... нет! Хм, Сету, молодой господин говорит, что не будет сегодня ужинать.
- И это все?
- Нет-нет. Он говорит, что будет есть с нами, то, что ты приготовишь.
- Ка-ак? Аллах, Зиригу, не может быть!
- Вон он там сидит, апельсин свой ест. Пойди спроси.
- О Аллах! Зиригу, ты думаешь, у этого парня с головой все в порядке?
- Не знаю. Нет, правда, Сету, не знаю. Но глаза у него вроде нормальные. Так что если даже он и тронулся умом, то еще не очень сильно. Хотя иногда он говорит странные вещи. Не знаю, не знаю. Да, он сказал, что я могу вписать туо в его счет. Господи, я уж скоро двадцать лет здесь управляющим и поваром, но чтобы такое... Да я и не знаю, сколько это стоит.
- Времена меняются, муж мой.
- Да, жена моя, твоя правда. Тогда уж после доктора

ты на рынок сходи, овощей там хороших, свежей зелени купи, окро*...

— Теперь уж ты лучше помолчи, Зиригу. Ты еще меня учить будешь, что на рынке покупать? Я уж как-нибудь сама разберусь, это дело женское.

— Ну ладно, Сету, ладно.

— Масса...

— Зиригу, я же просил тебя не называть меня так.

— Но вы же мой господин!

— Ничего подобного. Мне и шести еще не было, а ты уж воевал. Как же я могу быть твоим господином? А потом, это государственный дом отдыха, а не мой. Даже на работу тебя не я нанимал. Так что я тебе ни господин, ни начальник.

— Но другие господа ничего не говорят, когда я их так называю.

— Ну и черт с ними. Меня же зовут Кобина, а не «масса».

— Ко-би-на... Ко... Масса, не сердитесь, я не могу, просто не могу.

— Очень жаль. Значит, мне придется уехать раньше, чем хотелось бы.

— Я в город еду, по хозяйству надо кой-чего купить, яиц там, мыла... Может, вам надо чего?

— Апельсины, фруктов побольше.

— А вино?

— Да нет же! Хотя, может быть, пито**?

— Как пожелаете, масса! Но неужели вы будете пить пито?

— Хочу попробовать. Здесь, говорят, настоящий, свежий можно найти. Никогда не пробовал. Это вкусно? Не очень крепко?

— Да. Очень вкусно. И не крепко совсем. Ну, может, чуточку.

* Окро — тропическое и субтропическое бобовое растение с зелеными стручками.

** Пито — разновидность пальмового вина.

Что тут можно сказать? Если человек обладает даром предвидения, надо бы ему научиться и из прошлого извлекать уроки. Все эти свежие ветры... Им бы выдуть вековые предрассудки из наших душ, проветрить наши головы, сорвать пелену с наших глаз. Но ничего похожего не происходит. Это всегда было трудно сделать. В наши дни, как и в прежние времена, есть еще исковерканные души и в городах, и в непроходимых джунглях, и на побережье. И неправы были эти революционные поэты... Но Зиригу — хороший человек. И жена его. Не хуже нас с вами. И все у них в порядке. Надеюсь, что в один прекрасный день и они поймут, что все люди одинаковы.

Помню однажды, когда я был совсем еще маленьким, то на каникулы ездил к няне в деревню. Я прямо-таки увязался за ней следом. Как сейчас слышу ее слова: «Нет-нет, мой дорогой школьник, не стоит тебе со мной ехать, я-то привычная, а как с тобой случится что, кто тогда отвечать будет?» Но я настоял на своем. Никогда не забуду того впечатления, что произвели на меня тамошние запахи. Необычайные, прекрасные, неизведанные ни до, ни после. Запахи зелени, влажной земли и еще чего-то неповторимого, пьянящего. Как отличается этот божественный аромат от запаха ружейного выстрела или человеческой крови! На няниной ферме все благоухало свежестью. Каких только овощей там не было! Не прошло и часа после нашего приезда, а я уже буквально умирал с голоду. Няня поворчала немного — сначала, дескать, и поработать бы не мешало, — пошарила под кустом и извлекла на свет ямс огромной величины. Это был просто гигант. Конечно, когда сам ты мал, окружающий мир имеет свойство вырастать в твоих глазах до невообразимых размеров. Но этот ямс действительно был очень большим. Няня достала банку из-под керосина — такие за гроши продавали на рынке — и налила в нее воды. При виде этого великана у меня потекли слюнки. Она сказала, что приготовит небольшой кусочек для меня, есть ей еще не хотелось, а ямс хорош горячий. Я уже знал, что хороший ямс внутри белый или желтоватый. Но когда нянюшка от-

резала кусок, наш гигант оказался коричневым. Она отрезала еще. То же самое. Еще кусочек и еще — все напрасно. Няня остановилась, посмотрела на него и сказала: «Что же ты весь-то испортился? Не мог уж оставить кусочек для моего молодого господина?» Но я не мог с этим примириться. Надеялся, что не все еще потеряно. Тогда она перевернула плод и разрежала поперек. Он был мягким и коричневым. Я бросился на землю и зарыдал. Няня приготовила специально для меня кусок ямса из кладовки, но я не стал есть. И только когда она сварила немного и для себя, а я был уже слишком голоден, чтобы отказываться от еды, ей удалось меня уговорить... Никогда не забуду этот ямс. Что разрушило, разъело всю его сердцевину без остатка? И все же старый ямс должен был сгнить, чтобы на его месте мог вырасти новый. Где же то поле, где кто-то неведомый будет сажать ростки новой жизни? Безусловно, нам это не дано — мы слишком вождедем к вину, куреву, женщинам и с упоением пишем бессмысленные статьи о чужих деяниях.

А в доме отдыха царила атмосфера оживления. Жена Зиригу пришла ко мне и при помощи тех нескольких слов, которые она знала на моем наречии, дала понять, что о таких вещах надо бы предупреждать заранее, чтобы дать ей возможность как следует подготовиться. Я поспешил ее заверить, что такая возможность ей наверняка еще предоставится. Зиригу накрывал на стол. Увидев нож и вилку, я сказал ему, что буду есть руками и мне нужна только ложка для супа. Он даже рот разинул. Когда я ел, оба они наблюдали за мной. Еда была хорошей. Был, конечно, несколько странный привкус, как, впрочем, у любого непривычного кушанья. Чувствовались незнакомые приправы и специи. Но в общем, привыкнуть к этому было нетрудно. Я едал и более странные блюда. Зиригу, правда, высказал опасение, что мой желудок этого не примет. Потом он принес пито. Я попросил его присесть и выпить со мной. Он хотел было отказаться — не полагается, мол,— но я уверил его, что ничего страшного в этом нет. Вино было приятным, чуть сладковатым. Мы пили и разговаривали. Я рассказал ему

немного о себе. Зиригу, казалось, проникся ко мне пониманием и симпатией. Мы прикончили бутылку, и Зиригу вызвался принести новую из собственных запасов. Постепенно он становился все более разговорчивым.

— Мой молодой масса, не сердитесь, что снова вас так называю. Что делать? В мои года уж поздно с теми, кто выше стоит, фамильярничать начинать. Нет-нет, не уговаривайте меня. Вы хороший молодой человек. Вы мне по душе. Но у меня и язык не повернется называть вас Кобина. Да, по годам вы еще дитя совсем, вижу. Но что в наше время возраст? В старые времена, коли человек тебя на день старше, ты его почитать должен, не то все общество против тебя будет. Да только если тебе, старику, приходится стирать исподнее белой женщины, которая тебе в дочери годится, то какое уж тут уважение к возрасту? Благодарение господу, от этого унижения я уж давно избавлен. Правда, чернокожие, что господами стали, как белые ушли, тоже не очень-то стариков почитают. Коли будет охота послушать, я вам после историю одну расскажу. А так ведь и в старые времена говаривали: дураком родился, дураком умрешь. Считалось, что полезно по свету поездить — ума, дескать, наберешься. Ну что ж, поездил я немало. Солдатом вот был. В Бирме был, еще кой-где, фронт видел. Так и вы хлеб солдатский едали, коли были в Конго с нашими ребятами, что уж мне про фронт-то рассказывать! А ведь именно там я и узнал цену белым. Ах, масса, когда они хотят есть, они готовы друг другу глотки перегрызть за кусок хлеба. А то, бывало, к примеру, оставишь тем, кто на задании, их долю, а их же дружки все и съедят. Те придут — есть им нечего, так они давай чернокожих бить. Да, не ладили-то они между собой, а били нас. Эх, чего только не увидишь на белом свете! А ведь чернокожие и в атаки тоже ходили, а как же? И поубивало их немало. А кто без рук, без ног остался. Но и по сей день, масса, я не знаю, с кем и за что мы, чернокожие, воевали тогда.

Вы, верно, читали в разных книгах — сулили нашему бра-

ту-солдату райские кущи. Да как война кончилась, уж через пару месяцев многие стали надежду терять. Я и на хлеб себе заработать не мог. Пришлось нам с другом — братом Сету — уехать из Золотого Берега. Эх, и помотало же нас! Всю Западную Африку, почитай, объехали. Да везде одинаково, сплошь солдаты безработные. Я и вразнос торговать пытался, и велосипеды чинил, и плотничал. Да зря все — пустота впереди, пустота позади. Вернулись домой. Да, забыл вот. До войны я торговал ямсом на большом базаре в Такоради. Дела шли хорошо. А как пришлось мне на фронт уходить, оставил я все свои сбережения брату. Родному брату — по отцу и по матери. Я сказал ему: «Буда, сбереги это для меня. Если меня не убьют, я вернусь и снова буду продавать ямс. И ты вместе со мной, это дело хорошее». Ну, да что говорить. Родной брат. После меня через полтора года от тех же родителей на свет появился. Когда я вернулся, денег моих у него не было. Часть он взял на женитьбу, а уж после они с женой проели все остальные. Вы-то, господа, небось, думаете, будто мы здесь все воры да убийцы. Но если уж я тогда не взял нож и не прирезал своего братца, то уж никогда не смогу хладнокровно убить человека. Это так же верно, как то, что меня зовут Зиригу. Потому-то я и уехал с братом Сету. Через шесть лет мы так с пустым карманом и вернулись. И вот услышал я, будто в большом городе бывших солдат учат на поваров и садовников. Мы с дружкой это обсудили, он и говорит: «Нет, это не по мне! Ты же знаешь, сердце у меня горячее. Чтобы я пошел в услужение? В повара? В садовники? Чтобы какой-то дурак только оттого, что он белый или читать умеет, сделал из меня собаку?! Да я прибью его в первый же день, и меня посадят в тюрьму». Потом его и впрямь посадили. Говорят, будто за дело. Но я не уверен. По мне, он был хорошим человеком. Он сказал: «Буря дуб валит, а тростник стоит, как стоял. Ты нравом поспокойнее, езжай и учись». Я и поехал. Потом уж, когда я года два проработал в домах белых, а он так и не нашел себе работу, у нас с ним такой разговор вышел: «Зиригу, ты человек порядочный и с достатком. Давно пора о семье

подумать». А я говорю: «Да вот подумываю съездить на рождество домой да жениться». Тогда он спросил: «Ты знаешь мою сестру Сету? У нее умер муж. Остался один ребенок, сын. Правда, ты неверующий, дух нашего отца наверняка накажет меня за то, о чем я хочу тебя просить. Но ты хороший парень, а Сету — хорошая женщина. Женись на ней и побереги ее ради меня». Да, молодой масса, так я женился на Сету. Ее брат сказал правду. Она хорошая женщина. Наши жены не любят за каждым грошом к мужу ходить, у них всегда есть свои небольшие деньги. На побережье она продавала жареные бананы и арахис. Здесь делает каффу.

Вы спросите, как я сюда попал? Сейчас расскажу. Последний белый господин, у кого я работал на побережье, был добр ко мне. Как ему подошло время уезжать, он мне наказал за своим домом присматривать. И после его отъезда жить при доме еще два месяца. Будто из их страны еще один господин приехать должен. А уж потом он узнал, что есть здесь дом отдыха, где управляющий нужен. Он меня сюда и рекомендовал. И вот я здесь.

Да, это было уж больше десяти лет назад. Сначала-то сюда только белые приезжали. Потом стали бывать и черные. А те теперь и вовсе не приезжают — это я про белых. А чего мне об них жалеть? Я и не жалею. Но вам я могу сказать: никак я не пойму, изменилось что вокруг или нет. Иногда, правда, и порадуюсь, как подумаю, что наши люди так высоко поднялись. Года через два, как белые-то ушли, я и форму снял. Никто не заметил. Теперь-то я уж сразу чую, что за птица к нам прилетела, так иной раз и у стола не стою, только еду подам. Вот и вся разница, а я как был Зиригу, так и остался. Я рад, что дети мои в школе хорошо успевают. На колледж-то у меня вряд ли деньги найдутся. Да не велика беда. Сету — хорошая жена. А об остальном я не больно-то думаю. Привык я здесь. И дети мои в этом доме выросли. А когда я буду слишком стар, чтобы работать, дети мои подрастут и смогут сами о себе позаботиться.

Поздно-то как, масса! Теперь вам хорошо поспать надо. Вот с животом бы только все у вас обошлось. Покойной ночи, масса...

— Нет-нет. Ты же обещал мне еще кое-что рассказать.

— Хм. Даже и не знаю... Ну, так слушайте, молодой масса. Когда я сюда приехал, дом этот был не такой, как сейчас. Пристройка-то одна только была. С комнатами А и В да этой гостиной, где мы с вами сидим сейчас. Через год или два после освобождения они уж остальное достроили, С и D, и вторую кухню, которой так никто и не пользуется. А как надумали пристраивать, так наказали, чтоб сюда, значит, с полгода не приезжал никто. Мы с Сету домой и поехали, а детей с ее сестрами оставили. Чтоб школу им не пропускать. Наше помещение уж больно не понравилось, сказали, подновят. Для меня-то оно, какое ни на есть, хорошим было. И комната у детей отдельная, а главное — это земля. Я, что ни год, возделывал ее, и земля воздавала мне сторицей. Родила кассаву*, окро, просо и даже ямс. Мой молодой масса, мы ведь все вчетвером за счет этого и живем. А деньги, что мы с Сету зарабатываем, найдется на что поважнее потратить: детям книги купить, форму, за школу уплатить. А который год школа бесплатная, так всегда что-нибудь нужно. Ведь у таких, как мы, масса, лишних-то денег не бывает. Вот иной раз мы с Сету думаем, как это господь создал людей, у которых столько денег, что они кладут их в банк. Да мы-то еще лучше многих своих родственников живем. Однако не стоит вас утомлять нашими семейными бедами. Да, так вот, я говорил, что все мне здесь нравилось. Но как стали они дом передельвать, очень уж мне захотелось уборную хорошую с унитазом да лампочки электрические. Да, масса, уборная у нас — старая бадья, и вы, верно, заметили — лампы керосиновые. Я и подумал: «Зиригу, теперь и ты человеком станешь. Когда здесь были белые, они, понятно, давали нам, слугам, бадьи для отхожего места. И керосиновые лампы. Но теперь у нас независимость, дом заново от-

* Кассава — тропическое растение со съедобными корнями.

делают, вот и у меня будет хорошая уборная и электрический свет». Сету я ничего не сказал. Она ведь верующая. А Аллах наказал нам довольствоваться тем, что у нас есть, и не завидовать ближнему. Но я-то не мусульманин, хотя все и думают, будто на севере каждый верит в Аллаха. Это потому, что ничего вы о севере не знаете. Потом уж я узнал, что, несмотря на мусульманские заповеди, и Сету того же хотела. Да мне не говорила, думала, смеяться над ней буду. Приехал человек, чтоб закупки сделать да людей для работ найти. Его-то я и спросил. По его словам, все ладно выходило. И недорого, дескать, и труда особого не составит. Только вот с начальством поговорить надо, да он уверен был, что те его поддержат. Ну что ж... Вернулись мы назад, что же увидели? Они покрасили стены, крыльцо подлатали да маленькую веранду пристроили. Только ни света электрического, ни уборной не было. Бадью, правда, другую поставили. Вот не получил я своего и только тогда понял, как мне этого хотелось. Выходит, и новые господа считают, что все это не для нас. Как оборвалось во мне что тогда. Надо же, новую бадью дали! Вроде и пустяк, а будто ком в горле. И озлился я очень. А Сету еще говорит, поделом, мол. Больно много мы захотели, чтобы было у нас, как у господ. Аллах нас и наказал. Только я с ней не согласен. И вовсе я не хочу того, что им принадлежит... или вам... Уж больше десяти лет здесь работаю. Хорошо работаю. Не то не держали бы меня здесь. Место уж больно хорошее. Не грех господам и родне своей такое предложить. А у нас и знакомых среди господ нет. Выходит, хорошо справляемся, коли не гонят. Всю жизнь я стараюсь им служить верой-правдой. Голова уж белая вся. Да, видно, пара электрических лампочек — больно большая мне награда. Хоть бы на керосин тогда не тратился. Никак я успокоиться не мог. Все думал, думал. Запил, бросить все хотел, уехать. Убить кого-нибудь. А в город за зарплатой да для отчета ездил, в глаза им плюнуть хотелось, образованным этим господам. Но Сету сказала, что не годится мне вести себя как мальчишке, что страшного ничего не произошло. Надо только всегда свое место

помнить. Понемногу я успокоился и по-прежнему здесь работаю. Мой молодой господин, скажите, а что значит «независимость»?

Деньги для матери

Началось все это после экзаменов за курс начальной школы. Вместо того чтобы сразу же отправиться домой, я остался в городе — подзаработать. По правде сказать, это было мое первое настоящее знакомство с городом, поэтому я послал домой письмо, где писал о своих намерениях, и с тревогой ждал ответа. Беко и я должны были жить в небольшой комнатухе в доме его дяди. Комната эта размерами и формой скорее походила на гроб, но выбирать не приходилось. Работу мы нашли на почте — сортировали корреспонденцию. Уже и не помню точно, какое жалованье нам положили. Странно, но точной суммы не помню. По-моему, около двенадцати фунтов. А может быть, и все четырнадцать, но после вычетов оставалось чуть больше двенадцати. Помню только цифру двенадцать. Беко сказал мне, что дядюшка не собирался с нас брать деньги за комнату, более того, он приказал жене кормить нас бесплатно три раза в день. Это было, конечно, очень мило с его стороны. Знаете почему? Потому что другие непременно заставили бы платить, да еще сказали бы, что впоследствии это нам пригодится — научимся правильно распределять свои деньги. Правда, вскоре мы убедились, что жена дядюшки и в мыслях не держала кормить нас за здорово живешь. И недели не прошло, как она заявила, что хорошо было бы, если бы и мы чем-нибудь помогали семье. Нет, не вносить деньги за еду, а просто помочь. Мы с Беко сошлись на том, что каждый будет давать по три фунта в месяц. И еще мы решили, что не стоит рассказывать об этом дядюшке, не стоит жаловаться на хозяйку и нарушать семейный покой. Кроме

того, зная характер матери Беко, мы опасались, что за жалобы она задаст ему перца. Мать у Беко — торговка, нрав у нее суровый. Она может ни за что отколошматить его, а потом похвастать на рынке среди товаров, что отлупила здорового сына, который пять лет проучился в школе.

Итак, трех фунтов как не бывало. А потом еще эта курточка. Я имею в виду школьную куртку, которую мне хотелось купить. Стоила она ровно десять фунтов, а отец недвусмысленно дал мне понять, что считает свой долг дать сыну образование выполненным, потому что платил за мое обучение до последнего класса начальной школы. Как же я мог обратиться к нему с просьбой о школьной куртке? Поэтому я решил откладывать ежемесячно четыре фунта на ее покупку. Работать нам предстояло три месяца — летние каникулы были длинные. И мне, и Беко хотелось продолжать свое обучение, куртка была просто необходима. И вот, вооружившись карандашом и бумагой, вычтя из общей суммы деньги на карманные расходы, я подсчитал, что у меня останется еще два фунта, если я буду каждый месяц откладывать себе на куртку по четыре фунта. А потом я надеялся, что буду получать стипендию.

Я помнил, что говорила мне мать. Как-то раз она сказала, что после первой получки я обязательно должен принести хоть сколько-нибудь денег домой. На них купят вина или чего-нибудь покрепче и сделают подношение духам предков, чтобы те благословили мое вступление в самостоятельную жизнь. Поэтому в первую же субботу, после получки, я отправился на автобусную станцию и занял место в «Бесхвостом звере»*. «Зверь» этот только назывался автобусом, на самом же деле это был старенький грузовичок со скамейками для пассажиров вдоль бортов. Владельцем и одновременно водителем его был Анан, родом из нашей деревни.

Я был убежден, что деньги, которые я привезу, следует

* Во многих странах Востока и Африки автобусам даются броские названия, чтобы привлечь пассажиров.

отдать матери. Можете себе представить, каково было мое состояние, когда мама сказала мне по приезду, чтобы я лучше отдал их отцу. Я решил, что дам родителям четыре фунта (четыре — на куртку, три я отдал за еду, а один фунт оставил на расходы в городе). И вот, когда я протянул деньги матери, она расплакалась.

— О-хо-хошеньки, наконец-то и мать за человека признали. Я и думать не могла, что такой день настанет. Появился-таки и у меня кормилец и поилец...— Вы, конечно, знаете, как может заголосить, запричитать женщина, когда ее чем-нибудь проймешь. Мать даже на колени бухнулась, воздавая всевышнему за его доброту... Но денег моих она не взяла.

— Отдай их отцу. Он купит бутылку джина и окропит могилы предков. А потом я попрошу у него шиллингов десять, чтобы купить ямса и яиц на воскресенье.

— Да ведь бутылка джина стоит без малого три фунта,— вырвалось у меня.

— Послушай, сынок, ничего не случится, если отец из твоей получки изведет три фунта. Ровным счетом ничего. Тогда и люди не станут судачить, будто бы ты из своей первой получки ничего не дал родителям.

— Но, мама, я еще и работать не начал по-настоящему.

— Как это?

— Я успешно сдал экзамены за начальную школу. И если меня примут, я буду снова учиться, уже в средней школе.

— А не ты ли говорил, что будешь учиться всего пять лет?

— Да, я говорил, мама, но правительство призывает тех, кто хорошо сдал экзамены, продолжать обучение.

— И правительство будет платить за это?

— Да.

— Что ж, тогда хорошо. Потому что отец-то точно больше за тебя платить не будет. Ну а эти деньги ты отдашь отцу. Ведь люди не знают, что ты будешь учиться дальше, как сказал мне. Все, что они знают — ты начал работать.

Черт подери! Не представлял я, что все так получится с деньгами... Наступило воскресенье. Мама приготовила мою любимую еду — ото* с ямсом и пальмовым маслом. Потом я попрощался с родичами, и мать пошла провожать меня до шоссе, связывавшем нашу деревню с городом. «Бесхвостый зверь» развозил людей только по будням, и ждать его было бессмысленно.

Здесь, на шоссе, и закончился наш разговор о деньгах. Мама полагала, что было бы хорошо, если бы я продолжал присылать немного отцу, пока я работаю.

— Почему отцу? — спросил я.

— Ты ведь знаешь, как он старался, чтобы ты учился в школе. И если ты будешь присылать ему немного денег, то не только выкажешь свою благодарность, но и поможешь платить за то, чтобы учились твои сестры. Конечно, лучше бы присылать по пять фунтов,— продолжала мать,— но в этот раз ты отдал отцу четыре, и никто не будет в претензии, если мы и впредь будем получать по четыре фунта.

— А сколько же присылать тебе, мама?

— Мне? — спросила она растерянно.— Зачем же мне? Мне твои деньги не нужны. Мне надо лишь, чтобы тебе хорошо и счастливо жилось и чтобы о тебе никогда не говорили плохого. Неужели ты мог подумать, что я стану просить денег для себя? Помоги своему отцу, и этого будет вполне достаточно. Обещай, что так и будет, Кофи!

— Так и будет,— повторил я как попугай.

Настроение у меня в тот день было тоскливое. Я не мог понять нескольких вещей. Во-первых, чьим ребенком я был? Почему я должен платить отцу за школу? Пусть он даже называет ее «колледжем», это роли не играет. Кроме того, ведь он вносил лишь половину платы за учение, а другую половину — профсоюз, членом которого он состоял. А учебники? «Не в прошлом ли году я покупал тебе словарь?» — спрашивал, бывало, отец, когда я просил у него денег на новые учебники. А еда, которую мне приходилось подкупать, чтобы избежать голодной смерти, сидя на школьном

* вид каши.

пайке? «Да этой фасолью можно дюжину ребят прокормить!» — ворчал отец. Одно утешение — что отцы почти у всех ребят были такие же. А битва, которая разгоралась между ним и мной в начале каждого учебного года? Однажды, когда мать думала, что меня нет дома, она рассказала тетке, как отец переживает, как плачется над каждой копейкой, которой суждено покинуть его карман. Что и говорить, не очень-то сладко было быть его сыном! Ну и понятно, я здорово разъярился, хотя и не показал этого, когда мать завела разговор о том, чтобы я высылал отцу деньги. Да и не в деньгах дело, а в том, что именно он должен получать их.

Когда я начал работать, я мечтал хоть чем-нибудь помочь матери. Я был ее третьим ребенком. Двое моих старших братьев были уже самостоятельными людьми, работали, но у них были собственные семьи, и им было не до нас. Две сестренки и еще один брат были младше меня. Отец платил за их обучение, давал матери немного денег, но все время ворчал и жаловался на свою бедность. Те три фунта, которые он вручал матери ежемесячно, не могли покрыть всех расходов. Мать торговала вразнос, но даже по внешности она мало чем напоминала рыночную торговку, вроде матушки Беко — толстой, крикливой, здоровой. В деревне все и всегда продается в рассрочку, и деньги всегда платят такими маленькими частями, что маме, у которой на шее висело четверо детей, приходилось тратить все, до последнего пенни. Какой уж тут доход! У нее была любимая поговорка, которую она сама и придумала: «Одежды продашь на слона, а денег получишь от земляной блохи». Конечно, тем, что я учился в школе, я был обязан своей матери и именно ей хотел помочь.

Но я подчинился ее желанию: в конце каждого из двух оставшихся месяцев моей работы я отсылал деньги отцу — по четыре фунта. И каждый раз это приводило меня в бешенство. «Почему не тебе, мама, почему?» — спрашивал мысленно я.

Каникулы и моя работа закончились, начались занятия

в школе. Отец понял это по тому, что перестал получать деньги. Мне говорили, что он с гордостью рассказывал нашим соплеменникам об этом, хвастая, что я собираюсь и в институте учиться. О материальной поддержке от него и думать не приходилось.

Годы учения промчались быстро, я снова сдал экзамены, на этот раз уже за курс средней школы, и снова остался вместе с Беко в городе, чтобы подзаработать. Вновь я стал посылать часть заработка отцу. Но я чувствовал, что совершаю что-то несправедливое, поступаю не по совести. Я хотел было устроиться еще на одно место, чтобы и матери посылать немного денег, но работа на почте так изматывала, что пришлось оставить эту мысль, хотя я и рассчитывал к ней вернуться.

Забыл сказать, что выпускные экзамены я сдал с отличием. Летом, когда я еще работал на почте и готовился поступать в университет, я встретился с мистером Бантайном, нашим преподавателем химии. Он спросил меня, не хочу ли я учиться в американском университете. В те годы процветал особый вид бизнеса — на учебе. Преподаватели из европейцев и американцев выискивали наиболее одаренных ребят и отправляли их учиться, конечно, не бескорыстно: многие не вернулись на родину, продолжая жить и работать вдали от отечества, в чужой стране. Как бы там ни было, я согласился с предложением мистера Бантайна. После заполнения бесчисленных анкет и тестов я наконец стал студентом. Так я оказался здесь, в Америке.

О деньгах для мамы я не забывал никогда. Я говорил себе, что по-настоящему начну помогать ей, как только закончу университет. Пока же я решил откладывать деньги, чтобы скопить фунтов сорок, а может быть, и все сто. Я хотел и летом устроиться на какую-нибудь работу и отсылать домой деньги с указанием, что это для матери. Мысль о деньгах для матери не давала мне покоя, наверное, потому, что когда-то она сказала мне, что не нуждается в них. В общем, я строил всяческие планы.

Тут-то и приключилась со мной эта история. Как-то раз меня пригласил к себе домой мистер Мерроуз. Он был одним из главарей подпольного «синдиката по выкачиванию мозгов» из слаборазвитых стран. Он заехал за мной в университетский кампус и на своей машине отвез к себе. Жил он, конечно, в одном из роскошных небоскребов. На ужин было приглашено множество гостей, еда была великолепная, но гвоздем программы был — кто бы вы думали? — я! «Что вы думаете об Америке? Как вы собираетесь использовать блестящую возможность получить здесь образование на благо Африки? Сколько жен у вашего отца?..» Вопросы, один глупее другого, так и сыпались на меня.

Так протекала застольная беседа. Миссис Мерроуз снова-ла из кухни в столовую, удивляя гостей разнообразными яствами. А стол, как я уже сказал, был действительно великолепен. Все восхищались кулинарными способностями хозяйки, а некоторые жены записывали рецепты приготовления различных блюд.

Часа через два после окончания пиршества мистер Мерроуз предложил отвезти меня обратно в общежитие, ибо время было позднее. Я согласился. Попрощавшись с хозяйкой и поблагодарив ее, я вышел на улицу. Вскоре мистер Мерроуз вывел из подземного гаража свою машину. Он попросил меня сесть на переднее сиденье рядом с собой, но сам вышел, оставив мотор включенным. Вернулся он не один минут через десять. В темноте трудно было разглядеть, кто это, но в машине я увидел, что это была негритянка. Знаете, как иногда сердце замирает, будто проваливаясь куда-то, и тут же будто несется вскачь. Со мной происходило именно это.

Мистер Мерроуз тем временем говорил:

— Кофи, это Хай. Она помогает нам на кухне. А так как я все равно везу тебя, то решил, что можно немного подвезти и ее. Хай, это Кофи, он приехал из Африки.

Мы улыбнулись друг другу вымученными, нервными улыбками. Я старался скрыть свое волнение и боль...

Спустя два или три дня я вновь возвращался в общество поздно вечером от своего приятеля-африканца, с которым познакомился в один из первых дней пребывания на американской земле. Я решил ехать на метро. Вошел в ближайший вагон, который выглядел совсем пустым, сел и закрыл было глаза, но вскоре почувствовал, что, кроме меня, в вагоне есть кто-то еще. Я открыл глаза и увидел в самом конце вагона чернокожую женщину, сидящую ко мне лицом.

Сейчас я не уверен даже, была ли она пожилой или средних лет. Одно могу сказать точно — молода она не была. Я поймал себя на том, что во все глаза пялюсь на нее. Она была обычной чернокожей женщиной: пухлые губы, красивые карие глаза, короткие вьющиеся волосы. В руках — старая хозяйственная сумка. Не знаю, почему я обратил внимание на эту сумку. На женщине был полосатый дождевик — обычный плащ, который носят осенью все. Пожилая чернокожая женщина со старой хозяйственной сумкой в пустом вагоне метро поздней ночью...

Поздней ночью! Я задумался, кем могла быть эта женщина, откуда и куда ехала она так поздно. И тут внезапно я вспомнил кухарку мистера Мерроуза, которая провела весь вечер на кухне, в то время как все, в том числе и я, пили, ели, веселились за столом.

Я, наверное, смотрел на женщину столь пристально, что и она поняла: я думаю о ней. И тут на меня что-то нашло. Я вытащил свой бумажник, вытянул из него не глядя несколько купюр и, зажав их в руке, вскочил со своего места и подошел к женщине.

— Э... э... — Я не знал, как начать. — Я приехал из Африки... Вы напомнили мне мою мать... Пожалуйста, возьмите это. — Я старался не глядеть женщине в глаза.

— Сядь, — сказала она.

Я не уверен, что услышал именно эти слова: в вагоне стоял шум и грохот, но женщина показала рукой на место рядом с собой, и я поспешно сел.

— Ты говоришь, что приехал из Африки? — спросила она.

— Да,— ответил я.

— Чем ты занимаешься здесь, сынок?

— Я студент.— От волнения я не мог отвечать связно.

— Сынок, оставь их при себе, эти доллары. Я уверена, что тебе они нужны больше, чем мне,— сказала она.

Мы не сказали друг другу больше ни слова, но я почувствовал, что могу открыто смотреть этой женщине в глаза. На своей остановке я вышел, а она осталась одна в вагоне. Она помахала мне рукой и улыбнулась. Я стоял на платформе, пока поезд не захлопнул свои двери и с ревом не умчался в темноту туннеля. Затем я разжал свой кулак и посмотрел на смятые денежные бумажки: одна десятидолларовая и две по одному доллару. И внезапно до меня дошло, что это составляет как раз четыре фунта, от которых когда-то отказалась моя мать...

Чувствуя комок в горле, я бросился к выходу, бормоча на ходу: «Ах, мама!..»

Селби Ашонг-Катай

Непокорный

Давным-давно, задолго до того, как построили в Анкобре паром, жил в деревне на берегу реки лодочник по имени Джато. Был он высок и строен, широкоплеч, с шелковистыми волосами и тонким, красивым носом. Внешность его казалась необычной для этих мест, хотя родился и вырос он в Анкобре.

Деревня эта лежала в глубине страны, далеко от моря и прибрежных фортов. Каждый день к этим фортам из районов, удаленных от моря, тянулись колонны рабов. От побережья им навстречу далеко вглубь шли холмы и останавливались у самых джунглей, где деревья порой доставали до самого неба. Подлесок же был так густ, что в нем могли укрыться и незаметные ящерики, и змеи, и огромные слоны. Лишь немногие жители окрестных деревень знали тропы, ведущие сквозь лес. Те, кто знал эти тропы, служили проводниками бесчисленным колоннам рабов, стекавшимся в прибрежные форты.

В запутанной сети извилистых путей работоторговли деревня Анкобра, известная своими проводниками и лодочниками, оказалась весьма важным узлом. Вдоль берега реки, то лицом, то боком к воде, выстроились навесы из пальмовых ветвей, крытых травой. Навесы эти служили пристанищем для рабов, многие дни ожидавших здесь, пока их под присмотром проводников, а изредка и белых торговцев живым товаром не перевезут через реку. Джато был главным лодочником. На него в деревне смотрели с почтительным страхом, и слово его, по сути дела, было для односельчан законом, хотя официально деревней правил

наделенный подобающими полномочиями вождь. Джато казался совсем молодым, однако все в Анкобре говорили, что родился он в незапамятные времена, что он ровесник деревни. Старые люди Анкобры — мужчины и женщины — любили, сидя по вечерам у огня, рассказывать ребятишкам о подвигах Джато. Чаще всего говорили, что из всех лодочников деревни один только Джато истинный друг реки. Только он понимает ее язык и может говорить с нею в дни высокой воды. Рассказывали, что однажды река устами Джато заговорила с жителями Анкобры. Она предостерегала лодочников от опасности: намеченную на вечер переправу на тот берег следовало отложить. Однако вождь решил пренебречь предостережением, не подумав, что на утлых гребных лодках придется перевозить людей через бурную реку. А ведь река в этом месте была очень широкой, более полукилометра шириной. Подошло время переправы. Тут-то и появились первые признаки грозящей людям беды.

Поднялся сильный ветер. Снесло три навеса, под которыми укрылись рабы, ожидавшие в тот вечер переправы. Гром и молния привели за собою ливень. Жители деревни собрались на берегу с зажженными фонарями. На их лицах была написана тревога. Все глаза были прикованы к черной воде. Дети в страхе жались к родителям. Тишину ночи изредка нарушали лишь чьи-то вздохи и покашливание. У берега к огромным стволам деревьев, нависших над рекой, причалены были лодки — пятьдесят или более. В каждой лодке — по пятнадцать рабов, хранивших мрачное молчание. Звон их цепей сопровождал удары грома, сотрясавшие небеса. Вспышки молний время от времени высвечивали то лицо белого работорговца, то силуэт проводника рядом с ним на корме.

Все ждали сигнала к отплытию. Джато вместе со старейшинами деревни пытался убедить вождя отложить переправу. Но вождь так и не пожелал отступить от своего решения. Он приказал Джато дать сигнал к отправке.

Час настал. Лодочники по команде Джато взялись за

весла и по высокой воде отправились в путь.

Говорят, что люди всю ночь простояли на берегу, ожидая возвращения лодок. Да и кто смог бы тогда спокойно уйти? Но вот исчезла последняя надежда, что хоть один человек вернется, и люди словно застыли, в ужасе глядя на черную реку. Тогда вдруг показался плывущий к берегу Джато. Он отчаянно колотил руками по воде, из последних сил пытаясь уйти от гнавшегося за ним речного змея. Чудовище было таким огромным, что глаз не мог различить теряющегося вдали хвоста. Закричали люди, деревенские жрецы забормотали свои заклинания... Джато все же удалось невредимым выбраться на берег, и вскоре он поведал людям страшную историю о путешествии, из которого не было пути назад.

Когда его привели на площадь перед домом вождя и к нему вернулся дар речи, жрецы, прорицательницы и даже деревенские мудрецы вылили на землю вино из чаш, принося жертву предкам.

— Уважаемые старейшины и братья мои, жители деревни Анкобра! — начал Джато, когда односельчане собрались перед домом вождя. — Сегодня многие из наших близких и сотни рабов отправились в путешествие, из которого нет возврата. Я получил предостережение и стоял за то, чтобы отложить переправу...

Тут вождь поправил кенте*, ниспадавшее с его левого плеча, и сказал:

— Рассказывай только о том, что случилось. Не трать слова попусту, Джато! Подробный рассказ о переправе — вот чего мы от тебя ждем. Остальное и без тебя известно.

Пряча гнев, Джато опустил глаза и затянул потуже пояс своих длинных штанов. Собравшиеся молчали.

— Мы отправились по высокой воде, — заговорил он снова, — когда, как обычно, свет одинокой поющей звезды прорезал затянутый тучами склон неба. Плыли мы недолго: и до середины реки наших предков не добрались, когда

* Кенте — национальное одеяние. Представляет собой обернутый вокруг тела кусок ткани, оставляющий одно плечо открытым.

почувствовали, что вокруг наших лодок будто сгущается черный туман, странная тяжесть ложится на плечи, звучат загадочные голоса. Я крикнул лодочникам, чтобы гребли быстрее. Ничего не подозревая, мы гребли под звуки песен. Рабы пели вместе с нами. И вдруг я услышал... Когда умолкали песни, мне слышались звуки, которые мог издавать только речной змей. Я спросил у белого, что сидел рядом со мной, не слышит ли он чего-нибудь. Он сказал: «Нет». И тут сразу поднялась страшная буря, словно на море. Раздался вой. Две лодки, со всеми, кто там был, вдруг исчезли в черной воде, будто их накрыло каменной плитой.

Нас трясло от страха. Приближалась полночь, над головами хлопали крылья летучих мышей. Но, уважаемые старейшины и братья-односельчане, это было еще не самое худшее. Дело свое, как вам известно, я знаю, знаю и реку. И вот по моей команде в воду были сброшены бочки с пальмовым вином, которое везли на продажу; лодки пошли не на север, как раньше, а на северо-запад. Увы, слишком поздно. Я ничего больше не мог поделать: лодки опрокинулись, и люди стали тонуть. Пришел и мой черед. Лодка закачалась, как пустая жестянка в дождевом потоке. В смятении я обнаружил, что белый торговец исчез, потом я и сам очутился в воде. Из всех сил поплыл я к берегу и не сразу заметил, что за мною гонится речной змей...

Здесь вождь не выдержал.

— Речной змей! — воскликнул он. — Это просто смешно! О чем ты говоришь, Джато! Да ты хоть раз в жизни видел речного змея здесь, на этой реке, имя которой носит наша деревня?

— Нет, это случилось впервые. Все хорошо знают, что речные змеи обычно не появляются в наших краях. До сих пор их видели только в той части реки, которой владеют люди племени вазири.

— Речной змей в моих водах... Ну-ну, продолжай, брат мой.

— Остальное вы знаете сами. Вы видели, как преследовал меня змей и как — последним усилием — мне

удалось добраться до берега. Остался ли еще кто-нибудь в живых, раб или свободный,— это мы рано или поздно узнаем.

Такие вот истории рассказывали старые люди о подвигах Джато. Нет, он не был ни жрецом, ни старейшиной, и все же никто в Анкобре не пользовался таким почетом и уважением, как главный лодочник. Правда, когда много лет назад умерла его жена, ходили слухи, будто Джато по наущению колдуна сам убил ее и тайно принес в жертву богам ради славы, почета и уважения.

Со временем вести о несчастье на реке Анкобре дошли до побережья. Белые торговцы живым товаром не могли примириться с тем, что теряют доходы. Они ведь не только торговали рабами и получали золото, но еще и использовали рабский труд для строительства все новых и новых фортов на побережье. Поэтому было решено сделать все, чтобы обезопасить регулярную перевозку рабов через реку, чтобы торговля по-прежнему шла без сучка без задоринки. За океан полетели письма с просьбами о помощи в строительстве моста или паромной переправы на Анкобре. В конце концов решили строить паромную переправу. В результате на берегах Анкобры появились горы тесаного камня, гранитные плиты, песок, гравий, машины, доски, балки. Из-за океана прислали квалифицированных мастеров. Джато назначили старшим рабочим: у него в подчинении было несколько человек.

Работа подвигалась медленно. Тонуло много людей, машины падали в воду, рабочие умирали от лихорадки, некоторых давили насмерть машины. На стройке выживали только самые сильные и приспособленные. Обнаженные до пояса люди, черные и белые, трудились бок о бок. По воде сновали лодки — лодочникам тоже работы хватало. Джато подружился с жителем побережья, которого вместе с другими привезли работать на строительстве парома. Нового друга звали Ломо. Они трудились рядом, вместе встречали невзгоды, делили кров и хлеб. Казалось, у них друг от друга не было никаких тайн.

Однако то, что происходило на реке, изменило жизнь деревни. Изменились и взгляды жителей Анкобры на жизнь, и сами отношения между людьми: во всем сказывалось влияние белых.

Построили дома для рабочих и складские помещения для продуктов и товаров, которые нельзя было хранить на открытом воздухе. Деревня Анкобра превратилась в маленький городок. Население стремительно возрастало благодаря притоку людей с побережья, из окрестных селений и с верховьев реки и затопило его, словно вода в половодье. Буквально за одну ночь близ городка вырос новый рынок, появились палатки и ларьки.

Джато и его друг с побережья, Ломо, пользовались необычайным успехом у рыночных торговков. Им дарили связки бананов, сырых и печеных, апельсины, манго, так что герои Анкобры никогда не уходили с пустыми руками с рыночной площади. Ломо завел себе сразу несколько подружек, но Джато, который считал себя стариком, потому что виски его уже поседели, упорно отказывался следовать примеру друга. Ломо очень это упорство не нравилось, и в один прекрасный день он затеял с Джато разговор, чтобы побольше и поподробнее узнать о его личной жизни.

— Выходит, бросаешь меня на произвол судьбы, так что ли, Джато? — начал он.

— Да нет, что ты! Не гожусь я для этих игр. Ты-то молод и силен, а я уже старик.

— Уверен, что ты вовсе не намного старше меня.

— Смотри не ошибись, дружище, — ответил Джато. — В нашей деревне и то никто не знает, сколько мне лет на самом деле. Это знаю лишь я один.

— Тебе наверняка не больше шестидесяти, правда ведь? А мне самому уже пятьдесят два, — возразил Ломо, положив руку на плечо друга.

Они медленно шли через поросшую кустарником равнину. Далеко перед ними простирались холмы, уходившие за горизонт. Через некоторое время Джато заговорил:

— Тебе бы наших стариков послушать. Они много чего могут обо мне рассказать...

— А мне только одно хочется узнать, друг.

— Что же? Спрашивай, брат мой с побережья.

— Знаешь, брат мой из Анкобры, я все удивляюсь, почему ты не живешь дома, с женой. Иногда ты упоминаешь о своей единственной дочери. Может, познакомишь меня с ними? Окажешь мне такую честь?

На это Джато ответил, опустив глаза:

— Твоя правда, брат мой с побережья, ты — мой друг, и тебе надо больше узнать о моих женах и познакомиться с единственной дочерью.— В голосе его зазвучала скорбь.— Моя первая и самая любимая жена покинула меня много лет тому назад: она умерла странной смертью; смерть эта так и осталась для меня непостижимой. А потом кто-то пустил слух, что я сам принес ее в жертву богам ради почета и славы. А ведь и слава, и почет — все у меня тогда уже было, я добился этого задолго до ее смерти. Но... нет, не могу больше говорить об этом... Не могу.

Он резко остановился, не отводя взгляда от тропы, по которой шел. Деревня осталась далеко позади. Тропа увела их все дальше в густой кустарник.

— А дочь твоя — от этой жены?

— Дочь? Ах, ну да, ты ведь хотел знать о дочери! — Джато снова замолчал. Лоб его прорезали глубокие морщины. Он двинулся дальше.— Дочка моя, ее зовут Сэрва,— самое дорогое, что есть у меня в жизни. Ей всего шестнадцать, она от третьей жены. Они живут на краю деревни и почти все время проводят на своем поле. Не хочу, чтобы жена и единственная дочь работали на стройке. Не хочу, чтобы они на себе испытали влияние новых, отвратительных обычаев, другого, чуждого нам мира, злобное дыхание которого уже ощущается повсюду. Мы должны воспрепятствовать этому, пока не поздно!

Джато говорил и говорил. Ломо хранил молчание. Без обиняков, ничего не опасаясь, Джато признался, что тру-

дится на переправе только для того, чтобы побольше заработать — раз уж с приходом белых все стало строиться на деньгах. А новые люди и новые веяния, воцарившиеся на берегах Анкобры, ему отвратительны.

— Но разве ты ненавидишь белых? — прервал его Ломо.

— Сам не знаю. Слушай, брат, кто, по-твоему, принес нам все это — куренье, пьянство, проституцию? Мне совсем не хочется, чтобы у меня в семье рождались цветные, я все сделаю, чтобы Сэрву уберечь от этого позора. Поэтому я и не пускаю их обеих на берег Анкобры, заставляю целыми днями работать в поле. Будь моя воля, бросил бы эту проклятую деревню и ушел бы подальше, в глубь страны, жили бы там втроем и горя не знали...

Хлопнув друга по плечу, Ломо сказал:

— Брат, не так уж все мрачно на самом деле. Потерпи, все наладится. Мир меняется, принимай его таким, какой он есть.

Солнце стояло высоко над головой. Джато шагал впереди, уводя приятеля все дальше и дальше от реки и деревни.

— Хочешь поглядеть на мои ловушки?

— Очень. Мне всегда казалось удивительным, как это вы, лесные люди, ухитряетесь так ставить ловушки, что в них попадают самые разные звери. Говорят, вы всегда с мясом.

— Чего же тут удивительного? Ведь недаром говорят: «Кому ж и знать свою жену, как не мужу?» Наверняка твой народ тоже знает о море больше, чем самый умный из лесных людей, пусть он хоть целый век проживет на побережье.

— Правда твоя, брат,— согласился с ним Ломо. Теперь друзья свернули с широкой тропы и вошли в густой лес по более узкой и извилистой тропинке. Кое-где путь преграждали толстые стволы упавших деревьев. Подлесок становился все гуще. Джато, шагавшему впереди, приходилось то и дело раздвигать низко нависшие ветви, цеплявшиеся за волосы идущих.

Вдруг Джато резко остановился. Ломо, не ожидавший этого, налетел на него сзади. С минуту они молча смотрели, как тропинку пересекает небольшая зеленая змея. Ломо был поражен: Джато, храбрец Джато, испугался какой-то маленькой змейки! Не удержавшись, он сказал:

— Такая маленькая?

— Маленькая, по-твоему? — улыбнулся Джато. Ломо промолчал. — Ты думаешь, маленькая, значит, не страшно? Ты смотришь, да не видишь. Думаешь, это обыкновенная змея?

— А что же это еще может быть, брат? — спросил Ломо, все еще не оправившись от удивления.

— Брат мой с побережья, глаза твои способны видеть душу вещей на берегу океана, но у них нет силы заглянуть внутрь вещей в лесной деревне. Сейчас ты в лесу Анкобры. Помни, во всем, что открывается взгляду, заключен свой скрытый смысл...

— Прости, брат. Я понял тебя...

— Тебе не за что просить прощения. Можно за один день узнать все, что творится у реки, овладеть искусством и приемами белых мастеров, но для того, чтобы изучить повадки лесных обитателей и жизнь самого леса, нужны десятки лет. Пойди поговори с человеком, что служит вождю переводчиком. Он расскажет тебе, как гнал за белкой, а она обернулась змеей и укусила его. Спроси у него об этом, когда представится случай, непременно сделай это, брат!

Долго шли молча. Ломо не сомневался, что друг сказал ему правду. И все же, казалось ему, Джато порой слишком осторожен. Они зашли уже глубоко в лес. Джато внимательно вглядывался в заросли, чтобы не пропустить ловушки. Вскоре подошли к первой — она была не тронута. Зато в силки, поставленные всего в нескольких шагах от нее, попался кролик. Джато высвободил убитого зверька и вручил добычу Ломо — неси! Проверили остальные ловушки, но они были пусты, а одна оказалась сломана. Нетрудно было понять, что здесь прошло какое-то крупное

животное. Друзья выбрались на тропу и кратчайшим путем вышли к полям. Из деревни до них доносилась музыка, гремели барабаны — там, видно, танцевали. Но они спешили добраться до поля Джато.

Слева и справа от дороги на своих полях работали женщины Анкобры. Они выдергивали из земли сорную траву и опускали в образовавшиеся ямки зерна маиса. Сорняки сносили к краю поля. Сплетничали, не разгибая спины; то и дело со всех сторон слышались веселые возгласы и смех. Вскоре подошли к полю Джато, где работали его жена и дочь.

— Айикуу,— в один голос почтительно приветствовали их мужчины.

— Йаайии,— в унисон ответили они.

— Как вам сегодня работается?

— Очень хорошо.

— Благодарение богам!

— Мы скоро уходим, сегодня ведь воскресенье,— сказала мать Сэрвы.

— Да, разумеется,— ответили мужчины.

Сэрва, шестнадцатилетняя Сэрва, гордость отца, снова склонилась к земле, возобновляя работу. Прелестное детское лицо, но вполне созревшее тело. Яркая набедренная повязка спускалась от талии до колен. На обнаженной груди играли солнечные лучи. Ломо, который рядом с нею почувствовал себя стариком, не мог оторвать от девушки восхищенных глаз.

— Вот кролик, дочка, это тебе,— сказал Джато, указывая на пушистое тельце убитого зверька на плече своего спутника.

— Спасибо, отец, а вот ямс — это тебе,— прозвучал в ответ голос юной королевы лесов.

Джато вытянул стебель сахарного тростника из груды на краю поля и уселся вместе с Ломо под большим деревом. Разломил тростник пополам и предложил другу. Они молча жевали сладкую мякоть, пока мать и дочь заканчивали работу в поле. Затем помогли женщинам уло-

жить клубни ямса и собранные плоды в корзины. Вскоре друзья уже шагали по направлению к реке. Ломо все еще жевал сладкий тростник. Поля остались далеко позади, когда Джато остановился и указал на холм в стороне от дороги.

— Если встать на вершине этого холма, можно разглядеть Дорогу крови, — сказал он. — По этой дороге в Анкобру гонят рабов, захваченных далеко на севере. Их гонят и гонят, они прибывают в Анкобру каждый день. Им не дают ни отдыха, ни срока. Они должны все время идти вперед, идти и идти, молча, словно бараны, которых гонят на убой. Скоро на Анкобре появится паромная переправа. Она ускорит доставку рабов к побережью. А мы, лодочники, будем уже не нужны. Говорят, паром принесет в нашу деревню процветание и богатство. Как тебе это нравится, а? — Ломо увидел глубокое презрение в глазах друга.

Ближе к деревне стали попадаться возвращавшиеся с полей жители Анкобры, те, что закончили работу пораньше. Женщины несли на головах узлы и корзины. Солнце уже втягивало в себя свои лучи, запели птицы, с реки немзыкальными, хриплыми голосами им вторили лягушки. Однако роковой час, когда на охоту за человеческой кровью вылетают москиты, еще не наступил.

Главный лодочник и надсмотрщик Джато угрюмо сидел и ждал, когда остальные суденышки заполнятся рабами. Со смешанным чувством смотрел он за реку, на противоположный берег. В отдалении видны были баржи, с которых выкладывали настил дебаркадера. Видно было, как наблюдают за работой белые хозяева. Выше по берегу уже грохотали, нарушая вечернюю тишину, машины. Они будут тянуть сплетенный из стальных нитей канат парома с одного берега на другой.

Время от времени Джато посматривал на лодки — не закончилась ли погрузка? Он подумал, что знает кое-что, никому, кроме него, пока не известное. Да, пока. Он знал, что сегодня вечером, как и вчера, и позавчера, хозяева

недосчитаются четырех-пяти рабов. Так оно и шло. Три вечера подряд... Так будет и дальше. Это была его тайна.

Джато задумался. Вдруг с берега послышался крик. Кричал глашатай вождя. Джато понял, что пропажа обнаружена. Недосчитались рабов, которым он помог бежать накануне.

С фонарем в руке, глашатай призвал всех выслушать слова вождя. Когда воцарилась тишина, вождь заговорил:

— Сыны Анкобры! Сегодня снова, как и в прошлые две ночи, исчезли пятеро рабов. Они бежали, и, возможно, их не удастся вернуть. Нет сомнения, что в этом замешан кто-то из вас. Один человек вредит всей деревне. А может, и не один...— Вождь замолчал ненадолго. Собравшиеся переглядывались.— Мы еще не обнаружили вредителя, но и он, и его сообщники должны знать: недолго им оставаться невидимками. Сначала мои старейшины и я решили проверить всех с помощью Коклобити — великого бога правды, бога наших предков. Вы знаете, Коклобити нельзя призывать по пустякам — страшен гнев бога, коль обрушится на голову лжеца. Но белые хозяева рабов отговорили нас от этого.

Люди в толпе молчали. Стояла мертвая тишина. Никто не хотел бы встретиться лицом к лицу с разгневанным богом Коклобити, ибо гнев его не имеет предела. Вождь поправил на плече ткань нарядного кенте. Фонарь вспыхнул ярче в сгустившейся тьме. Лодочники на воде замерли, стараясь не пропустить ни слова. Джато спокойно сидел в лодке рядом с белым работорговцем. Улыбался в душе.

— Мы усилили охрану,— снова заговорил вождь, после того как белый начальник что-то шепотом сказал ему на ухо,— установили новые посты, и у нас, и на том берегу. Сегодня утром в Анкобру прибыло еще несколько наших белых друзей. Они останутся здесь до окончания строительства и постараются его ускорить. Кроме того, многие из нас, африканцев, получают работу: будут назначены охранниками и полицейскими...

Вождь сообщил собравшимся, что начальник полиции теперь Бородатый — так прозвали самого жестокого из белых. Полиция займется также борьбой с нарастающей волной грабежей, драк, изнасилований, захлестнувшей в последнее время берега Анкобры.

На следующий день, с утра пораньше, на рыночной площади нарождающегося города выстроились длинные очереди. Это были те, кто жаждал попасть на работу в полицию. Среди них был и Ломо. Его взяли в отряд, охранявший строительство переправы. Джато попытался отговорить приятеля от этой работы, но тот и слушать не стал. Не прошло и нескольких дней, как Ломо заслужил явное расположение Бородатого. Тот часто принимал его у себя в кабинете один на один и выслушивал сообщения о событиях «особой важности».

Тем временем жизнь в Анкобре шла своим чередом. Но это была уже совсем не та деревня, к которой Джато привык с малых лет. Он молчал, но в груди его копились проклятия тем, кто так страшно изменил все вокруг. Как хотелось ему вернуть тот порядок вещей, что существовал здесь всего лет пять-шесть назад! Но как бы Джато ни гневался, какие бы ни придумывал проклятия, в глубине души он четко сознавал, что прошлого не вернуть. И даже если ему удастся тайно помочь некоторым рабам вырваться на волю, «старый порядок меняется, место давая новому...»

Там, где когда-то жили прекрасные сыны Анкобры, свободные хозяева цветущих селений, там, где с давних времен стояли хижины, построенные предками, там, где людей окружал мир простых вещей и простых, честных отношений, Джато видел теперь растерянность, беззаконие, пьянство и всяческие пороки. Он сознавал, что все это принес в их края белый человек. Так думал не он один. Все вокруг видели, например, что богатые африканцы привозили с побережья пули и ружья. Сражения между племенами теперь велись при помощи оружия белых. Поля, отвоеванные у джунглей несколько лет тому назад, — те, что лежали поближе к реке, — были теперь заброшены, заросли тра-

вой и кустарником: их хозяева были заняты строительством парома.

Кто мог возвысить голос или хотя бы палец поднять в знак протеста? Сам вождь стал игрушкой в руках белых работорговцев. Джато мог делать только одно: по-прежнему помогать пленникам бежать из рабства. Даже Ломо, его друг Ломо, стал тайным осведомителем белых, и Джато мог рассчитывать только на себя да на удачу. Но недолго оставалось ему незаметно совершать свои ночные подвиги.

Однажды ночью он поднялся в обычное время. Внимательно поглядел на Ломо, спящего на циновке в углу, взял второй нож и приготовился к походу туда, где на берегу ожидали отправки рабы. Ломо похрапывал, как обычно, но Джато одолевало беспокойство. Ему вдруг показалось, что приятель на самом деле не спит. Однако теперь освобождение нескольких невольников казалось Джато началом освобождения всех африканцев от гнета белых. Поэтому он решительно переступил порог хижины.

Перед ним смутно вырисовывались очертания барачков, где теперь держали рабов. Проход между ними был пуст, два стражника, охранявшие территорию ночью, мирно храпели. Джато постоял несколько минут, размышляя, с какой стороны лучше пробраться в помещение — через переднее или заднее окно.

Тем временем Ломо открыл глаза и сквозь дыру в одеяле посмотрел на циновку Джато. Друга не было. Отбросив одеяло, Ломо кинулся к двери. Глянул в сторону барачков, где размещались рабы. Никого. Сделал несколько шагов вдоль стены и остановился. Теперь ему хорошо была видна фигура человека, осторожно пробиравшегося к барачкам. Ломо пальцами протер замутненные сном глаза. Стало светлее; из-за облаков показалась луна, и теперь силуэт Джато четко вырисовывался на выбеленной ее светом стене. Крадучись, он пробирался к заросшей травой тропе, что шла позади строений.

Ломо не знал, что делать. Закричать, позвать друга обратно? Или догнать и предупредить о ловушке, устроен-

ной для «злоумышленника» именно в эту ночь? Стройная фигура Джато со склоненной, словно в задумчивости, головой ожила. Он шел вперед, прямо в капкан. Бессильное чувство сожаления, смешанного с презрением, поднялось в душе Ломо. Но кого он жалел, кого презирал? Себя? Друга? Друг его состарился буквально на глазах. Молчаливый и задумчивый, Джато казался теперь не просто худощавым, но каким-то изможденным, иссохшим. Он был во власти навязчивой идеи и, видимо, хотел во что бы то ни стало довести свое дело до конца. Ломо попытался крикнуть, позвать друга, но у него перехватило горло, и он не издал ни звука.

«Вернись, Джато,— хотел он сказать.— Вернись, брат мой из Анкобры. Собаки спущены с цепей, они ждут...» Пересохший язык не слушался, не мог произнести ни слова. Ломо щелкнул пальцами. Джато рывком бросился в тень, но было слишком поздно. Залаяли собаки. Их привезли сюда тайно для усиления охраны, о котором говорил вождь.

Несколько минут Джато скрывался в темноте, ожидая, что собаки затихнут. Однако лай приближался, становился все громче. Если он останется здесь, скрытый лишь темнотой, его обнаружат. Нужно бежать, попробовать спастись, решил Джато. Вначале он двигался осторожно, перебегая от одной глинобитной хижины к другой, прячась в их тени. Повсюду за собой он слышал шум и топот. Пересекая один из дворов, он вдруг остановился.

— Сдавайся! — услышал он резкий окрик. Перед ним появился Бородатый.

В последней отчаянной попытке спастись Джато рванулся было вперед, но неожиданно колени его подогнулись, и он упал посреди двора.

Собаки словно взбесились: деревня никогда еще не слышала такого лая. Повсюду из своих глинобитных хижин выбегали люди — женщины и мужчины; вышли из своих домов и белые. Скоро вокруг Джато собралась толпа. Он все лежал, будто совершенно обессилев, с отсутствующим

щим взглядом. Набедренная повязка как всегда туго облегла его бедра. Потрясенные люди молчали. Никто не задавал вопросов. Все и так было ясно.

Вдруг, словно подхваченный неведомой силой, Джато вскочил на ноги. Выхватил оба ножа.

— Уходите! — сказал он. — Не смейте ко мне приближаться. Я не вор, не насильник, я никому не причинил зла.

— Взять его! — приказал Бородатый. Два африканца-охранника, подойдя сзади, схватили Джато и обезоружили. Он не сопротивлялся, но продолжал свою речь:

— Анкобру моим предкам дали боги. А вы кто? Вы, чужаки, пришли сюда и хотите отнять у нас все — и земли, и права, данные нам богами? Хотите сделать людей Анкобры рабами, как наших братьев с севера? Да проклянут вас боги и да сокрушит вас молния небесная, да умрут все белые страшной смертью... и те черные вместе с ними, которые продались белым и предали свой народ!

Джато говорил и говорил, и тогда охранникам дан был приказ разогнать толпу, молча внимавшую его речам. Самого Джато отвели в полицейский участок. В большой комнате он увидел человек двадцать белых, рассевшихся вдоль стен. Джато поставили посредине. Выпрямившись во весь рост, обнаженный до пояса, слушал он обращенные к нему вопросы.

— Джато из Анкобры, — раздался голос, — зачем ты это сделал?

— Не спрашивайте меня, ибо такова воля богов. Наш народ должен быть свободным.

— Ты нарушил закон, совершил тяжкое преступление.

— Я это знаю.

— Ты подаешь дурной пример своим соотечественникам.

— Это не так!

Выступил вперед Бородатый:

— Как нам поступить с тобой?

— В соответствии с вашими законами.

— Следовало бы расстрелять тебя еще до рассвета. Но мы решили не делать этого, и...

— Почему же? — прервал его старый Джато.

— Мы знаем, как к тебе относятся жители Анкобры, и решили, что есть лучшие способы наказать тебя, чем расстрел.

— Если это противоречит вашим законам, поступайте, как знаете. Но если вам закон говорит, что я должен умереть, дайте мне умереть. Я стар. Ни одна душа не решилась помочь мне бороться с вами. Видно, и впредь никто не придет мне на помощь. Мне недолго осталось жить. Пусть же смерть будет быстрой.— Голос его становился все печальнее: — У меня осталась только одна дочь. Все мои жены, кроме одной, умерли либо ушли на побережье...

Внезапно Джато упал посреди зала, потеряв сознание. Очнувшись, он увидел, что лежит на полу небольшой, совершенно пустой комнаты. Сквозь щели в деревянной обшивке стен в комнату пробивались лучи полуденного солнца. До вечера было еще далеко, но на улице раздавался крик глашатая вождя. Судя по всему, он обращался к ожидавшей чего-то толпе.

Вскоре щелкнул замок, и вошли два охранника.

— Следуй за нами!

Вместе с ними Джато вышел на улицу и сразу оказался в центре толпы. Чуть ли не вся деревня ждала его появления. Воцарилась тишина. Со своего сиденья поднялся вождь, по правую и левую руку которого расположились двое белых.

— Мы поймали злоумышленника,— начал он, когда все взоры обратились к Джато, гордо стоявшему посреди площади.— Вас, быть может, удивит, что он один из наших героев: герой, обернувшийся преступником, герой, не нашедший для себя лучшего и более почетного занятия, чем помогать рабам бежать от их хозяев. Нелегко и недешево доставлять этих рабов сюда с далекого севера. Но Джато решил помешать делу, которое принесло богатство и процветание нашей деревне. Посмотрите, какой она стала сегодня. Община Ан-

кобры должна изгонять людей, подобных Джато, прежде чем они успеют принести деревне непоправимый вред. Прежние дни ушли навсегда, новое время диктует свои законы. Вы все знаете, что произошло. Совет старейшин и наши белые друзья решили наказать Джато за его преступление.

В задних рядах толпы послышался ропот. Джато усмехнулся и почесал в затылке. Вождь подождал, пока его переводчик не утихомирит толпу, и закончил свою речь так:

— Белые решили послать Джато на работу в прибрежные форты. Но я как вождь этой деревни обязан защищать всех сынов и дочерей Анкобры. Мы обратились к белым с просьбой наказать его иначе. Слушайте, сыны Анкобры: Джато остается здесь, его никуда не отправят, несмотря на преступление, которое он совершил..

Слова вождя были встречены громкими возгласами радости и одобрения.

— Но с сегодняшнего дня он перестает быть старшим рабочим и лишается работы на строительстве, которое, как вы все можете видеть, близится к завершению. Без него будет закончена переправа, и никогда он не пересечет реку, имя которой носит наша деревня. Никогда его нога не ступит на другой берег. Он помог бежать рабам, которые стоят даже больше, чем его лодка. Поэтому, чтобы возместить убыток, у него забирают лодку. Я все сказал. Хочет ли что-нибудь сказать Джато?

Джато, который слушал вождя потупившись, поднял голову, выпрямился и посмотрел на небо, потом обратился к окружавшим его односельчанам. Звучный голос взлетел над притихшей толпой:

— Сыны деревни, что носит имя реки Анкобры! Неужели никто не встанет рядом со мной в этой борьбе? Неужели я единственный сын нашей страны, готовый защищать свое племя и весь народ Африки? А вы все будете молча стоять и смотреть, как унижают и позорят брата? Да, конечно, я заслужил наказание. Но спросите себя: разве мой поступок порожден корыстью?

— Не заставляй нас тратить время зря. Тебя всего-на-

всего спросили, имеешь ли ты возражения против вынесенного тебе приговора, — оборвал его переводчик вождя.

— Я не стану просить помилования. Но знайте все: Джато не останется в деревне, где его так унизили. Я соберу свои пожитки и уйду по реке за пределы Анкобры. И пусть сыны деревни знают: борьба уже началась. Это борьба против демонов зла, могущество которых вы пока еще не осознали. Но как бы ни был я стар, я еще увижу, как люди поднимутся против этих злых сил, я доживу...

В нескольких шагах от небольшого селения на берегу реки, но довольно далеко от деревни Анкобра, в своей хижине, на коленях перед изображением бога-покровителя стоял старик. Он молился истово, словно осененный вдохновением свыше. Его седые волосы были коротко острижены. Бедро плотно облегал набедренная повязка. Она была влажной от пота, струйками сбегавшего по спине и груди молящегося. То и дело старик громко выкрикивал слово «Анкобра» и трижды прикасался к резному деревянному идолу, служившему изображением его родового тотема. И когда среди неразборчивого бормотания звучало: «Анкобра!», тело старика содрогалось.

Луна над лесом только начинала отступать перед лучами нового солнца. Во дворе у дома мать и дочь сидели перед очагом, ожидая, пока будут готовы клецки-кенке.

— Сэрва! — позвала мать.

— Да, мама?

— Какой сегодня день?

— Вторник.

— Рынок закрывается в полдень?

— Да, мама.

— Плохо!

— Почему?

— Дрова что-то совсем не горят!

— Да, а кенке еще не готовы! Того гляди на рынок не успеем. Не так-то быстро пройдешь две мили до Анкобры! Сейчас, мама, я раздую огонь.

— Попробуй. А я пока пойду возьму дров из другой поленницы, что подальше, может, там они посуше и гореть будут лучше.

— Хорошо, мама.

Сэрва принялась хлопотать у очага, а мать пошла за дровами к дальней поленнице. Вернувшись, она сказала:

— Молодец, дочка, хорошо горит!

— Твоя наука!

— Ну, у меня-то самой теперь так не получится. Пойду, пожалуй, принесу еще полешко.

Сэрва перестала раздувать огонь и поудобнее примостилась на низкой скамейке перед очагом. Вдруг сзади, у поленницы, раздался громкий крик. Девушка резко повернулась, так что кенте соскользнуло с плеча, обнажив грудь. То, что она увидела, было ужасно. Сэрва вскрикнула: «Мама!» — и бросилась к ней. Женщина лежала на земле навзничь, у самой поленницы. Джато выбежал из дома, как был, в одной короткой набедренной повязке. Бросившись к жене, он успел заметить лишь хвост зеленой змеи, исчезавшей в кустах.

— Мама! — рыдала Сэрва, опустившись на колени. Оторвав кусок ткани от своего кенте, она пыталась забинтовать сильно кровоточащую ранку на ноге матери.

— Мама, очнись же, о мама!

Джато бросился в лес и быстро вернулся с пригоршней разных листьев. Он разжевал их и, промыв рану, приложил к ней зеленую кашицу.

Женщина с трудом раскрыла глаза. В них стояла боль. Прежде чем веки ее снова сомкнулись, мать слабо улыбнулась дочери. Больше глаза не открывались.

— Беги к лекарю, отцу Ламили. Приведи его сюда, скорее!

Сэрва неохотно оторвалась от матери, неуверенно поднялась с земли. Шагнула прочь, остановилась, обернулась. Снова глянула матери в лицо. О, если бы она снова хоть на мгновение открыла глаза! Как была, с обнаженной грудью, девушка бросилась через лес к дому лекаря. Бежать нужно было километра полтора. Она бежала быстро. Но отца Ламили не оказалось дома. Правда, сама Ламиль уже встала

и с утра пораньше подметала двор. Сэрва рассказала по-друге о несчастье, прежде чем та успела хоть слово вымолвить: говорить о новых прическах сейчас не хотелось. Вместе девушки побежали назад, к дому Джато.

Мать Сэрвы по-прежнему лежала на земле у поленницы, край ее кенте намок от крови.

Услышав во дворе шум, Джато выбежал из дома, где он снова, преклонив колени, молил богов-покровителей о защите. Увидев Ламиль и Сэрву одних, без лекаря, он горестно ударил себя в грудь.

— Где твой отец, дочка?

— Еще до света он ушел в Анкобру, отец мой.

— О горе нам!

Все трое бросились к лежавшей на земле женщине. Мать Сэрвы судорожно вздохнула, пальцы ее разжались, руки безжизненно упали на землю. Сэрва не сводила глаз с дорогого лица. Ламиль сжимала ладони подруги.

Мать так больше и не открыла глаз. Когда наконец пришел отец Ламили, лекарь, женщина была уже мертва.

— О брат мой из Анкобры, я горюю вместе с тобой!

Три ночи подряд в доме Джато раздавались рыдания и вопли. Джато сначала не хотел и слушать уговоров лекаря как можно скорее похоронить покойницу. Однако в конце концов он сам понял, что это необходимо сделать. Мать Сэрвы похоронили на маленьком деревенском кладбище, и в доме Джато остались двое: отец и дочь.

Каждый день Ламиль приходила к Сэрве рано утром, помогала готовить кенке на продажу. Из Анкобры, с рынка, они обычно возвращались к вечеру. Не только Ламиль, даже Сэрва вскоре оправилась от потрясения и уже не так горевала об умершей матери. Но Джато — Джато жил как бы в вечном трауре. Он ушел в себя, уединился, замкнулся, другого такого отшельника на берегах Анкобры было не сыскать. Если бы не Сэрва и Ламиль, дом казался бы нежилым. Но Ламиль вечером уходила к себе домой. Правда, каждое утро, пораньше, она приходила снова. По вторникам, когда рынок закрывался в полдень, девушки возвращались раньше,

чем в другие дни, и усаживались плести друг другу косички. Прихорашиваясь, подружки болтали и смеялись, перемывали косточки знакомым и незнакомым, встреченным на рынке и у переправы. Заводилой всегда была Ламиль.

— Сегодня выдался хороший денек,— сказала она Сэрве в один из таких вторников.

— Почему?

— Ну-ну, не притворяйся, сестричка!

— И не думаю!

— Уж не хочешь ли ты сказать, что сегодня самый обыкновенный день?

— Для тебя, может, и необыкновенный...

— Если уж честно говорить, день был удачный для нас обеих, разве нет?

Сэрва не отвечала. Она подумала, что подруге лучше бы помолчать. Можно ведь обо всем поговорить и по дороге, когда пойдут вдвоем через лес.

День был облачный. Казалось, ветер дует одновременно со всех сторон, сотрясая ветви деревьев и заставляя шептаться кусты. Сэрва еще утром хорошенько вымела двор новой метлой, но теперь ветром несло мусор отовсюду. Двор Джато со всех сторон окружен был низким кустарником, который постепенно становился все гуще и выше, переходя в лес. Джато давно уже ушел из дома, прихватив бутылку джина: у него вошло в привычку каждый день уходить в холмы. С вершины одного из них, говорил он, можно видеть колонны рабов, которых гонят к парому.

А во дворе его между тем подружки продолжали болтать. Сэрва, младшая, сидела на низенькой скамейке, а Ламиль стояла над ней, искусно заплетая бесчисленные косички, разделяя волосы Сэрвы артистически размеченными рядами.

Ламиль заговорила снова:

— Ты ведь весь кенке продала?

— Да.

— И считаешь, день не был удачным?

— Если ты об этом, то да, он был удачным,— улыбнулась Сэрва.

— Конечно об этом, сестричка, конечно об этом. Неужели ты могла подумать, что я имею в виду этих бойскаутов? Сэрва состроила гримаску, притворяясь, будто подружка слишком сильно потянула прядку волос.

— Бойскауты? Эти мальчишки с побережья, в зеленых рубашках и кепках? Ты о них?

— Точно!

— Они весь рынок обошли, от лавки к лавке. Тоже мне работа! Топать сюда от побережья только затем, чтобы разбить лагерь на Анкобре! Бездельники, только и знают, что бродить по деревне да по лесу. Чего им тут надо?

— Ну, тебе-то, по-моему, как раз известно, чего им надо! Они ведь от тебя и не отходили почти что... Целый день около тебя провели. А... один из мальчиков и после других остался, правда ведь? Да какой красивый! Или, может, он тоже кенке покупал?

— Не говори глупостей, Ламиль! А я, думаешь, не заметила, как ты пересмеивалась с этим длинным, а?

— Да, мы с ним хорошо посмеялись. Между прочим, он спросил, как меня зовут.

— И меня тоже. Тот, который около меня стоял...

— И где я живу.

— И меня!

— И знаешь, я объяснила ему, как сюда пройти...— призналась Ламиль.

— Как, сестричка, зачем? А я отказалась.

— Почему?

— Потому что не захотела, вот и все.

— Ну, это твое дело. А я вот объяснила. Его зовут Джек. И он обещал взять с собой того, что стоял у твоего прилавка, и придет сюда вечером.

— Что ты говоришь?! — воскликнула Сэрва, вскочив со скамейки.— О боги!

— Не будь ребенком, Сэрва.

— А как же отец?

— Что-нибудь придумаем, сестричка. Ну-ка садись, а то не успею прическу твою закончить.

Ламиль сумела уговорить подругу, что ничего страшного не случится, если парни к ним зайдут. Такое бывает раз в жизни, твердила она. Ведь все девчонки мечтают выйти замуж за парней с побережья и жить, как живут белые.

Девушки приготовили ужин к тому времени, когда Джато вернулся с холмов. Все вместе они поели, и Ламиль стала собираться домой.

— Мы тебя проводим немного, дочка,— сказал Джато, когда Ламиль прощалась.— Когда, говоришь, отец твой вернется от большого из Анкобры?

— Еще до заката,— ответила она.

— Это хорошо.

— Можно мне попросить вас о чем-то?

— Конечно, Ламиль, говори!

— Сегодня около дома главного жреца музыка и танцы,— начала Ламиль, заглядывая в лицо Джато.— Мне очень хочется, чтобы Сэрва пошла туда со мной, отец мой.

Джато задумался:

— Это ведь кончится очень поздно?

— Может быть.

— Может быть... Ну ладно. Тогда Сэрва пусть у тебя заночует.

— Хорошо.

— Но ведь вам завтра нужно очень рано быть здесь. Может, подождем до следующего раза? Вы же знаете, через лес ходить теперь небезопасно.

— Мы знаем, отец,— в один голос ответили девушки.

В конце концов Джато удалось уговорить, и он проводил их до дома Ламили. Вернувшись, он разжег очаг и сел перед огнем, попыхивая трубкой. Чувство одиночества овладело им. Ему так хотелось увидеть новые постройки, выросшие у переправы на реке Анкобре. Вдруг он услышал шум позади себя. Он вскочил. Обернулся. Это вышла на вечернюю охоту его любимая кошка. А не сходить ли в Анкобру, скрываясь под покровом ночи? — спросил он себя. Взвесил ружье на руке. Подумал немного. И отказался от этой мысли. Решил пораньше лечь спать и ушел в свою комнату.

Лежа на циновке, он думал о том, что пора уже сделать пристройку к дому: ведь в нем всего две комнаты. Однако Джато недолго предавался раздумьям. Сон быстро сморил его.

В это время сквозь лес к селению шла группа бойскаутов. Их отряд остановился на берегу Анкобры всего на два дня. Кое-кто из ребят узнал, что вечером в селении будет музыка и танцы, и несколько человек украдкой удрали из лагеря. По дороге двое отстали от группы. Один из двоих, Джек, знал, что Ламиль будет ждать его в условленном месте. Его друг надеялся, что удалось уговорить и Сэрву и что обе девушки придут на свидание.

Подходя к условленному месту, Джек и Аковуа увидели подружек, сидевших на толстом стволе упавшего дерева. Глаза их сияли, губы улыбались. Скоро четверка разделилась на пары, и Аковуа повел Сэрву подальше в лес, туда, где чаще стояли деревья и гуще были кусты.

Ночная тьма огласилась грохотом барабанов: казалось, вместе с ними вибрирует воздух. Слышны были поющие голоса. А на небольшой полянке в лесу, вдали от музыки и танцев, раздавался тихий смех и шепот. Руки сплетались и расплетались, юные тела касались друг друга... Неопытные подружки позволяли ласкать себя. Юноши с побережья были достаточно искушены в любовных играх.

Сэрва смеялась. Ей было интересно и весело с Аковуа. Правда, в глубине души она страшилась чего-то. Она, пожалуй, не могла бы объяснить, чего именно. Это было что-то запретное, но неодолимо влекущее... Она пыталась протестовать, почувствовав, как его руки ласкают ее грудь. Но прикосновение было нежным, сказанные шепотом слова одурманивали. И все же ею владел страх. Что скажет отец? Не догадается ли обо всем по ее лицу? А Ламиль? Подарит ли она свое тело Джеку?

Однако Аковуа не слушал ее возражений. Ткань, служившая Сэрве одеянием, была расстелена на траве; юноша распутывал бусы, обвивавшие ее талию и бедра. Девушку ох-

ватило неведомое волнение. Забыв обо всем, она уступила его ласкам.

Когда четверо снова сошлись вместе, на лице подруги Сэрва увидела тот же испуг, то же смущение. Но Ламиль, казалось, легче относится к случившемуся.

Они смешались с толпой веселящихся на площади перед домом жреца. Гром барабанов, пение, танцы... Наслаждаясь праздником, они все еще были во власти нового чувства, захватившего их целиком; снова и снова переживали часы, проведенные в лесу.

Девушки не знали, как Джек и Аковуа добрались до лагеря, крепко ли они спали. Но утром обе они поняли, что многое изменилось за одну лишь ночь, что они стали взрослыми. Шагая по тропе к дому Джато, подруги были необычайно молчаливы.

Проходили дни. Они слагались в недели. Жизнь шла как обычно. Каждый день Сэрва и Ламиль отправлялись в Анкобру на рынок продавать кенке. Каждый день подружки говорили о том, где сейчас могут быть те двое парней с побережья. Двое парней, которые называли себя бойскаутами и ворвались в их деревню, словно ниоткуда. Вернутся ли они сюда еще хоть раз в жизни? Разушут ли Сэрву и ее подругу? Захотят ли узнать, что с ними случилось? Недели уходили, а с ними отдалялись и воспоминания о Джеке и Аковуа.

Как-то у парома к Сэрве подошел один из деревенских ребят. Раньше она часто перебрасывалась с ним шутками и смешками. Юношу недавно приняли на работу в аптеку при больнице, построенной для жителей деревни Анкобра. Он спросил, почему Сэрва ни разу не зашла к нему в «госпиталь», как он почтительно и гордо называл маленькую деревенскую больницу. Но больше всего его огорчило то, что Сэрва не захотела отвечать на его шутки. Она уже не прежняя Сэрва, решил он. Не только этот юноша заметил перемену. Все молодые мужчины деревни стали считать подружек воображаемыми и зазнайками. «И чего нос дерут?» — меж собой говорили они.

Каждый день, проходя по рынку, Ломо передавал через Сэрву самые сердечные приветы и пожелания ее отцу. Даже он, старый Ломо, заметил, что Сэрва стала серьезнее и уже не светится радостью, как раньше. «Дочь Джато становится взрослой женщиной», — говорил он себе. Как хотелось ему повидать Джато, поговорить с ним о многом! О тайнах леса, о Сэрве — как когда-то. Но те времена прошли, их уже не вернуть. Джато теперь ни с кем не водил дружбы. Теперь единственным его другом был родовой тотем, бог-покровитель, вырезанный из дерева. С ним он беседовал по нескольку раз на дню, пав на колени, в доме на берегу реки, милях в двух от деревни.

Как-то утром Ламиль появилась во дворе Джато позже, чем обычно. Старик уже ушел на охоту. К своему удивлению, девушка обнаружила, что двор пуст, в очаге нет огня, никто не готовит кенке. Она вошла в комнату. Сэрва лежала на циновке без движения. Услышав шаги Ламили, она открыла глаза, попыталась улыбнуться, но улыбка сменилась гримасой боли. Ламиль села рядом с ней на пол.

— Ты нездорова, сестричка?

— Нет вроде.

— Может, ты устала?

— Может...

— Что с тобой такое, скажи мне!

— Может, устала. Может, нездорова. Не могу сказать, не понимаю, что со мной.

— А отец твой знает?

— О чем?

Ламиль растерялась. Она поняла. И испугалась. Попыталась сосчитать, сколько месяцев прошло. Почти три...

— Сэрва, скажи, сестричка, приходила ли к тебе луна?

— Не знаю, Ламиль, — мрачно ответила та.

— Значит, ты не видела ее прихода?

— Кажется, видела, очень недолго.

— О сестричка! Что же ты мне не сказала? Я знаю одну травницу — она бы тебе помогла.

— А сейчас уже поздно?

— Поздно!

Сэрва поднялась с циновки обнаженная, как спала. «До чего же она красива!» — подумала Ламиль. Медленно, с трудом, Сэрва подняла с циновки одежду, обернула кенте живот и бедра, оставив открытыми плечи и грудь. В глазах ее блестели слезы. Она смахнула их рукой. Накинула на плечи покрывало и вместе с подругой вышла во двор.

Солнце стояло высоко. Пели птицы.

— Ламиль! — окликнула Сэрва подругу.

— Да?

— Правда, уже совсем поздно?

— Знаешь, я попробую все-таки с ней поговорить. Травница наверняка знает, можно ли что-нибудь сделать. Пожалуй, сейчас же к ней и схожу.

— Скорее, Ламиль, прошу тебя!

Ламиль побежала по тропе, но вдруг остановилась:

— Три месяца уже, да?

— Почти.

И она снова двинулась вперед по тропе, зная, что травница ничем помочь не сможет.

Не успела Ламиль скрыться из виду, как во двор вошел Джато.

— Что значит «три месяца», дочка? — спросил он. Вопрос отца застал девушку врасплох. Она закусил губу. Странный жар разлился по ее телу. Обхватив живот руками, она наклонилась вперед. Все поплыло перед глазами, и Сэрву вырвало. Она опустилась на землю. Рвота не прекращалась.

Выронив ружье, Джато бросился к дочери.

— Что с тобой, доченька? Что стряслось? — спрашивал он дрожащим голосом, придерживая дочь за плечи.

Не получив ответа, старик побежал к очагу, развел огонь, заварил травы, отвар которых, как говорили, помогает от многих болезней. Он сам каждое утро выпивал калемасу такого отвара. Едва сдерживая рыдания, он яростно раздувал огонь. Сэрва с трудом добралась до дома и прилегла на циновку у себя в комнате. Отец принес ей горячее питье.

— Что с тобой, доченька? — повторил он свой вопрос.
— Не знаю, отец. Это случилось так неожиданно!
— Может быть, вчера на рынке ты поела каких-то сладостей?

— Нет, отец.

Подняв глаза к ветхой крыше, Джато произнес:

— Клянусь богами Анкобры, кто-то виноват в том, что случилось с моей дочерью. И он ответит за это.

Джато сжал челюсти так, что казалось, он пытается разгрызть твердый орех. Седые волосы на висках встали дыбом. Обхватив себя руками так крепко, что чуть не трещали ребра, он не смотрел на Сэрву, не отрывал взгляда от потолка.

— С кем ты говорила у парома?

— Со многими, отец. Ломо справлялся о твоём здоровье.

— Ломо? Ломо. А о твоём здоровье он спрашивал?

— Да, отец.

— Ломо, — повторил Джато. — Он больше не друг нам, а все справляется о здоровье. Выпей еще калекбасу отвара, дочка.

Сэрва выпила еще отвара, держа калекбасу дрожащими руками. Она по-прежнему тяжело дышала, но напряженное тело немного расслабилось; она явно чувствовала себя лучше.

— Получше тебе, дочка?

— Да, отец.

— Тогда поспи. Скоро все пройдет.

Сэрва крепко заснула и спала долго. Вечером пришла Ламиль. Она принесла дурные вести: травница ушла далеко в глубь страны, чтобы купить недостающие травы, пополнить запасы.

Но Сэрва больше не тревожилась.

— Я выношу и рожу этого ребенка, сестра, я этого хочу. Это ведь не зверек какой-нибудь, а человеческое существо. Ну и еще... я сама уже перестала быть ребенком.

Она во всем призналась отцу. Джато все понял, не стал ее ни в чем упрекать, даже улыбнулся. Только спросил:

— Кто же отец твоего ребенка?

— Он пришел с побережья, папа. Из города Кейп-Кост.

— С побережья? — сказал задумчиво отец. — Не из Анкобры? Это хорошо, дочка. Это очень хорошо!

Шли месяцы. Ламиль и Сэрва перестали ходить на рынок у переправы. Теперь они больше работали в поле. Пришел сезон дождей. А с ним — полчища moskitov. Быстро пошли в рост деревья, гуще и выше становились травы. На лесных тропах, мешая проходу, пробивались из земли кусты и колючки. У Сэрвы заметно увеличился живот. Головокружение и тошнота у нее не проходили. Ламиль оставалась с нею почти каждую ночь. Каждую ночь по крыше стучал дождь, а иногда лило и днем. Джато слабел день ото дня. Двор перед домом зарос сорняками, а сам дом, обветшавший и неухоженный, казался необитаемым. Отец Ламили, лекарь, присылал Сэрве лекарственные отвары и настойки, чтобы поддержать ее силы.

Прошло уже не меньше восьми месяцев со дня праздника у дома жреца. Жизнь в доме Джато становилась все тоскливее. Полчища moskitov, казалось, все росли. Несколько дней был болен Джато. За ним ухаживал отец Ламили. Не успел старик оправиться от болезни, как тяжкий приступ малярии свалил Сэрву. Джато выздоравливал, а здоровье его дочери с каждым днем ухудшалось. Отец подумал было отправить Сэрву в деревенскую больницу, но гордость не позволяла ему сделать этот шаг. Он заявил, что не желает иметь ничего общего с белыми, с их «госпиталем» и лекарствами.

Сэрве становилось все хуже. Она уже не поднималась с циновки. Но однажды в полночь, когда дождь лил как из ведра, она встала, словно ощутив прилив новых сил, и выскользнула незамеченной под беспощадные струи воды, низвергавшейся с неба. Сделав несколько осторожных шагов, остановилась. Подняла обнаженные руки к небу. Опустила. Потом снова вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Словно школьница на зарядке. Как во сне, сделала еще шаг вперед и совершенно нагая начала танцевать под дождем. Это был странный танец, тело Сэрвы дергалось, словно в истерическом припадке.

Когда туча погасила слабый свет луны, Сэрва издала дикий крик. В доме проснулась Ламиль и, обнаружив, что подружки рядом нет, выбежала во двор. Посреди двора лежала Сэрва, устремив в небо остекленевший взор.

Ламиль разбудила Джато, и вместе они внесли больную в дом, уложили на циновку. Она ничего не сознавала. Из рта была пена.

Дождь не прекращался до рассвета. Днем пошел снова и лил, не переставая, еще несколько дней. Сэрва начала понемногу выздоравливать.

А через неделю, в ночь полнолуния, Сэрва умерла в родах. Но ребенок родился толстенький и здоровый. Это был мальчик. Джато, Ламиль и ее отец сидели у ложа умирающей. Все было объято тишиной, когда молодая мать покинула этот мир, чтобы перейти в мир предков.

Джато рыдал. Плакала и Ламиль. Не прошло и пяти минут после смерти дочери, как отец кинулся в свою комнату. Он вернулся оттуда с ружьем в руках. Ламиль и лекарь все еще сидели у смертного ложа. Обезумев, Джато стал выкрикивать проклятия. Он кричал во весь голос, перемежая крики рыданиями, и в безумстве не пощадил никого, кроме младенца. Ничего более не сознавая, он схватил на руки новорожденного, в последний раз взглянул на тела, лежавшие рядом с телом дочери, и выбежал из дому.

Снаружи стояла тишина. Прижимая к груди внука, Джато шел через кустарник, не выпуская из рук ружья. На третий день, уже в сумерках, он вышел к холму, откуда можно было видеть дорогу, по которой гнали к переправе рабов. Взобравшись на вершину, он опустил ребенка на землю и нацелил ружье в сторону этой дороги. Вдруг сзади послышался шум. Будто кто-то пошевелился в кустах. Джато обернулся. Никого. Ребенок заплакал, и Джато дал ему попить воды. Опять он услышал, как по обеим сторонам от него затрепетали листья. И никого не увидел. Кто-то его выслеживает? Почувствовав голод, Джато снова опустил мальчика на траву. Отойдя на несколько шагов, выдернул молодой клубень кассавы и впился в него зубами. Вернулся к ребенку.

К этому времени охотник, хорошо знавший эти места, убедился, что видел именно Джато с ребенком на руках. Он немедленно бросился домой и рассказал об этом односельчанам. Люди поспешили к дому Джато.

Зрелище, представшее их глазам, было ужасно. Тела Сэрвы, Ламили и лекаря, объединенные муравьями, почти разложились. Над двором кружили стервятники. Мухи заполонили и дом, и двор.

Уже через несколько часов весть о трагедии достигла Анкобры. Работорговцы и белые начальники вместе с вождем выслали для поимки Джато специальный отряд во главе с Ломо. Люди были вооружены, но их предупредили, что Джато нужно заманить в ловушку и взять живым. Потерявший разум старик, с ружьем в руках защищающий только что родившегося внука, опасен, хоть и вызывает жалость. Его следует брать не силой, а хитростью.

Тем временем разнесся слух, что кто-то стрелял в колонны рабов, идущих по дороге к переправе. Проводники, придя в Анкобру, рассказывали, что на холме над дорогой скрывается какой-то меткий стрелок.

Джато ушел далеко от деревни. Ребенка он нес на плече, словно обрубок древесного ствола. На четвертый день мальчик умер. Старик понял это, когда на заре очнулся от чуткого сна меж корней огромного дерева. С болью в душе, со слезами на глазах понес он тело внука туда, куда бежал сам,— в неизвестность.

Специальный отряд из Анкобры продолжал погоню. Он разделился на две группы. Одна, с барабанами, двинулась на север от деревни. Другая пошла на северо-восток. Первая группа время от времени била в барабаны, предупреждая жителей мелких селений и отдельных домов, разбросанных в джунглях, чтобы они опасались сумасшедшего стрелка. Целью этого маневра было не только предупредить людей об опасности. Джато ведь тоже слышал эти сигналы. Если он решит бежать, то неминуемо угодит в сети, расставленные второй группой.

В сумерки обе группы сблизились, так что Джато, сам

того не зная, попал как бы в клещи. Это случилось после того, как северо-восточная группа обнаружила следы, похожие на следы одинокого беглеца. Теперь Джато бежал, не разбирая дороги, не сознавая, куда и зачем он стремится. То и дело целился он туда, где ему мерещились преследователи, враги или вообще что-либо подозрительное. Он пересек поля нескольких усадеб, расположенных поодаль друг от друга, и снова углубился в густой лес. Он слепо рвался вперед. Истрепанная, изорванная набедренная повязка едва держалась на нем. Ноги его были изранены и кровоточили. Он не знал, как это произошло, не понимал, в чем дело, только чувствовал боль. Он давно уже выглядел изможденным, но теперь и вовсе высох и согнулся. В отчаянии шагал он без дороги, вброд переходя ручьи и кишасшие крокодилами водоемы. Змеи незамеченными пересекали его путь, кожу рвали шипы, лианы хватили за ноги. Но он шел вперед. А клещи погони сжимались. Настала ночь. Джато вышел из гущи леса на поляну. Здесь ему стало ясно, что от преследователей не уйти. Посреди поляны лежал большой валун. На него старик опустил тельце ребенка. В это время преследователи окружили поляну. Бородатый и Ломо двинулись к Джато.

— Только подойдите... я его застрелю! — сквозь зубы пробормотал Джато, бросив на них безумный взгляд.

— Застрелишь? Кого? — спросил Ломо.

— Ребенка. Не подходите!

— Но он умер. Нам это известно, — попытался урезонить его Ломо. — Отдай ружье и пойдем с нами. Мы никому не желаем зла. — Ломо сделал шаг вперед.

— Я предупреждал: оставьте меня в покое! — Джато резко повернулся и выстрелил. Кто-то упал.

— Мы никому не желаем зла. Пойдем с нами.

— Не желаете зла?! Идите прочь. Меня и моего внука похоронят стервятники.

Казалось, Джато уже не в силах удержать ружье, ствол его касался земли, но через мгновение он уже стрелял, не останавливаясь, не выбирая цели. В мгновение ока Боро-

датый прицелился и спустил курок. Старый Джато повернулся и боком упал на траву. Он был мертв.

Трепетали над поляной ветви деревьев, роняя листья. Тела убитых обернули кусками ткани. Джато, словно ушедшего к предкам вождя, люди несли на плечах. Они шли по холмам, через долины, переходили ручьи. Шли гуськом там, где тропы были слишком узки. Медленно шли дети Анкобры и пели без слов похоронные гимны. Медленно возвращались они домой. Домой, после напрасной погони. Подходя к родной деревне, к сказочной земле Анкобры, которая теперь стала всего лишь местом паромной переправы, они замолчали. Страшным было это молчание. Ломо смахнул слезу, осторожно прошел вперед и встал во главе колонны.

Притворщик

Странно было вдруг попасть в бесплодную и унылую пустыню. Холмистая равнина протянулась на несколько километров, и покуда хватало глаз — песок, песок. Если не считать узкой полосы жирной грязи, устилающей берега небольшой лагуны, то действительно вся равнина — сплошной песок. Нельзя сказать, что не было на ней ничего привлекательного — если, к примеру, считать достойными внимания бесчисленных грифов, плавно скользящих на распластанных крыльях меж кокосовыми пальмами. И сами эти пальмы, а их было множество, тоже представляли увлекательное зрелище. Они были не просто серо-зеленые, но еще и какие-то коричневатые — явный признак яростной борьбы за существование. Следовало бы ожидать, что деревья по берегам лагуны должны в буквальном смысле процветать. Однако нетрудно было разгадать загадку оттенка их листвы, стоило только взглянуть на радужные пятна, растекавшиеся по всей поверхности лагуны. Не оставалось никаких сомнений в том, что воды лагуны в значительной степени пополняются за счет вод сточных, которые лишь затем уходят в море.

Множество самых разнообразных предметов разбросано было по берегам лагуны. Здесь были и пустые жестянки из-под сигарет, и безногие стулья; чаще всего попадались обломки старых, отслуживших свой срок автомобилей. И все же среди этого враждебного природе хлама зеленели ростки: не только сорняки и трава, но подсолнухи и даже розовые кусты как-то ухитрились отвоевать себе здесь местечко, пробираясь меж обломками железа к солнцу, подставляя хилые листья свежему ветерку с моря. Район этот назывался Манфада. Трудно представить себе место более неприглядное, и все же оно было неотъемлемой частью нашего прекрасного города. По железнодорожной ветке через Манфаду вы попадали в самый центр, если ехать в северном направлении, и на побережье, к торговым складам, — если на юг.

Как бы то ни было, Манфада полюбились компании подростков, которые проводили тут почти все свое время. Здесь им удобно было делить трофеи после вечерних набегов на город и плоды дневного «обхода» магазинчиков и лавчонок. Здесь они покуривали «травку», по очереди передавая сигарету друг другу. Сознание того, что, если их застанут за этим делом, засадят не меньше чем лет на пять, лишь придавало занятию остроты. У компании был свой молчаливо признанный всеми вожак — Бобо. Он и придумал в этот субботний вечер, как сбыть трофеи, накопленные за неделю. Конечно, автомобильные запчасти надо нести к Кумби Мозесу: у него здорово идет торговля. Бобо и помощника себе нашел, новичка в их компании, шестнадцатилетнего парнишку по имени Кодуа. Они вдвоем пойдут сбывать запчасти. Все мальчишки прекрасно понимали, зачем Бобо нужен именно новичок, но ни один не сказал ни слова.

Июньский дождь лил как из ведра целый день, но ребята все же дождались передышки — потоки, низвергавшиеся с небес, на несколько минут ослабели, и мальчишки успели добраться до жилища Кумби Мозеса в центре города. Старая

дорожная сумка с выцветшей надписью «ПАНАМ»* оттягивала плечо Кодуа. Бобо належке гордо шагал рядом.

Им пришлось несколько минут подождать на улице, пока не выйдет из дома посетительница. Задержавшись на пороге, женщина взглянула на ребят, устремивших на Кумби вопрошающие взгляды. Кумби тоже заметил мальчишек.

— А, ребятки, заходите. Как дела?

— Прекрасно, папаша Кумби. А эта женщина — она что, ваша новая жена?

— Что ты, Бобо, что ты! Ты же знаешь, за уважение людей приходится платить. Не стесняются, беспокоят в любое время дня и ночи. Кто только не приходит посоветоваться и помолиться! Но ты забыл: делу — время, потехе — час. Что принесли?

— Мелочишка, но дорого стоит, папаша Кумби,— ответил Бобо, расстегивая сумку.

Кодуа, присевший на корточки в углу, с любопытством рассматривал помещение, а Кумби торговался с Бобо, который, конечно же, хотел подороже сбыть ворованные запчасти. Комната служила и гостиной, и спальней: в одном углу стояла лежанка, накрытая чистой белой простыней, в другом — старый холодильник без дверцы, набитый книгами о религии. Кодуа заметил, что об исламе книг там было не меньше, чем о христианстве. Мальчик внимательно рассматривал старую фотографию Кумби, когда Бобо вручил ему уже пустую сумку и попрощался с хозяином. Однако ребятам удалось уйти только после того, как папаша Кумби несколько раз повторил, что им следует соблюдать осторожность, и напомнил, что нельзя ни в коем случае упоминать его имя, даже если, не дай бог, они налетят на полицейских: это будет просто предательство! Только выслушав наставления Кумби, мальчишки шагнули за порог, в темноту дождливого вечера.

Кодуа сразу же помчался домой. В своей компании он был одним из немногих счастливых, живших с родителями;

* «ПАНАМ» — сокращенное название авиатранспортной компании «Пан-америкэн эйр лайнз».

конечно, вполне могло случиться, что и он когда-нибудь окажется на улице вечно бездомным бродягой. Но пока этого не случилось, он — один из немногих — мог вернуться под родной кров. Когда он вошел, мать раскричалась:

— Кодуа, ты где шатаешься целый день? Так-то ты проводишь свои каникулы? Смотри у меня, я ведь все про тебя знаю! Мне уже сказали, с какими паршивцами ты компанию водишь!

— Вранье, — огрызнулся Кодуа.

— Ах, вранье, ну еще бы! — последовал насмешливый ответ.

— Не знаю, зачем столько шума поднимать из-за всякой ерунды. Я гулял.

С другого конца веранды подошел отец. В таких случаях он не вмешивался в разговор. Человек действия, он не тратил слов попусту, хотя внутри у него все кипело, пока жена отчитывала сына.

— Это я поднимаю шум из-за ерунды?! — продолжала мать. — Послушай, сынок, — неожиданно мягко проговорила она, — то, что нас с отцом беспокоит, не ерунда. Мне сказали, что сегодня вечером — всего несколько минут назад — тебя видели вместе с Бобо...

— Вранье! — прервал мать Кодуа.

Женщина подошла к сыну и положила руку ему на плечо. Помолчали. Потом она заговорила снова:

— Скажи мне, сынок, разве не тебя видели у дома Кумби Мозеса часа два-три назад?

— Ну и что в этом плохого?

— В том, что ты пошел к Кумби Мозесу, не было бы ничего плохого, если бы не Бобо. Дядюшка Мозес вовсе не плохой человек, и мы с отцом его уважаем, но в последнее время у него завелись какие-то делишки с Бобо — прямо не верится!

Кодуа почувствовал, что попался.

— Я с ними не связан, мама, честное слово! — Слова и тон сына удивили женщину. Видно, совесть в нем заговорила. Тут вмешался отец:

— Нет, сынок, ты с ними связан и готовься за это ответить. Мы ведь с матерью все знаем. И я не смогу заступиться за тебя, если ты сам мне все не расскажешь подробно. Кодуа, что вы делали в доме дядюшки Кумби?

Мудрость и терпеливые расспросы отца сделали свое дело: через несколько минут неискушенный в хитростях Кодуа рассказал все, что ему было известно. Ах, какие проклятия обрушил бы на его голову Бобо — если бы знал, конечно!

— Папа, пойми,— уговаривал отца мальчик.— Я же поклялся хранить тайну!

— Это больше не тайна, сынок. Мы должны исполнить свой гражданский долг. В полицию, и никаких разговоров! Эси! — позвал он жену.— Дай мальчику поесть. Он проголодался.

— Сейчас, Оса, ужин готов. Только... как ты думаешь, Кодуа тоже могут вызвать в полицию за это?

— Я сказал — никаких разговоров. Сообщить в полицию — наш долг. Не беспокойся, я сам с этим разберусь.

Поздно ночью, перед самым рассветом, Кодуа заметался в постели. Ему померещилось, что над ним кто-то стоит, стремясь усилием воли извлечь его из глубин сна. Снится ему, что ли? Однако реальность властно зывала к нему из предрассветной тьмы, и он понял, что это не сон. Издалека до него донесся голос Кумби Мозеса — трубный глас, будивший жителей их района в столь ранний час по крайней мере раз в неделю. Кодуа поднялся и сел на кровати, а голос Мозеса сочился к нему в комнату вместе с каплями предутреннего дождя.

— Поднимайтесь, о дети господа, ибо час близок. Вложите руки свои в руки слуг господа нашего. Поднимайтесь, говорю я вам, или вина ваша падет на вас...

И столь проникновенными были слова Мозеса, что Кодуа почувствовал, что не может не подчиниться призыву. Он поднялся с постели, но снова сел, ибо голос постепенно утрачивал грозные ноты, приобретая все более трогаящие душу тона.

— О заблудшие души этого грешного мира, сколь долго

будете вы наслаждаться сном? — вопрошал Кумби Мозес. — Пробудитесь и восславьте господа, и награда вам будет дороже, чем сон. Мое имя начертано на небесных скрижалях. А ваши? Начертаны ли там ваши имена? Сколь долго будете вы ждать? Вот я стою здесь, один на этой пустынной улице, с раннего утра проповедуя вам, и знаю, что одни из вас погружены в сон, другие же обращают ко мне уши, что не слышат, слух очерствелый, как недельной давности лепешка, третьи все еще творят грех со своими... Но все это — деяния грешного мира, и вот говорю я вам: покайтесь в греховных деяниях ваших!

Голос взлетал все выше и выше, и, словно подчиняясь призыву этого пастыря — проповедника своей собственной веры, поднялся ветер и, завывая, гнал перед собою черные тучи и ливни, как бы стремясь омыть и очистить людские души. Кодуа сидел на кровати, опустив голову на руки. Он думал не столько о проповеди, сколько о самом проповеднике. Все считали Кумби Мозеса старым чудаком, и не без оснований. Раньше он был самым обыкновенным жителем их города; правда, соседские ребятишки старика до смерти боялись: он был с ними очень строг, да еще и борода пугала — страшная, лохматая. (Кумби утверждал, что бреется раз в десять лет.) Он, бывало, отбирал у ребятишек теннисные мячи, хватая их на лету прямо во время игры. Но это еще когда Кумби служил в полиции. Изменился он, вылетев с работы неизвестно за что; вот тогда он и занялся продажей запасных частей к автомобилям.

Кодуа все сидел, думая о дядюшке Кумби, а дождь за окном набирал силу, словно вдохновляемый нарастающим светом дня. Но Мозес продолжал свою проповедь. На этот раз она длилась гораздо дольше обычного. Кодуа никак не мог уразуметь, в чем дело: ведь лишь накануне вечером этот человек занимался скупкой краденого, покупал у мальчишек ворованные запчасти. Значит, он живет двойной жизнью? Ну, как бы там ни было, отец и мать уже приняли решение. Только разве при помощи полиции ответишь на все вопросы?

Кумби Мозес закончил проповедь только в шестом часу утра.

В восемь все еще лило как из ведра. Большинство магазинов было закрыто, улицы пустынные. К полудню почти совсем стемнело — так бывает в редкие дни солнечных затмений. Рыбаки, собравшиеся было в море, предсказывали страшные ливни и возможное наводнение, вроде того, что было лет десять назад. Да и все кругом прочили ливни и бури, а в двенадцать эти предсказания подтвердила и сводка погоды по радио. Лавки и магазины закрылись, работали только большие универмаги; школы прекратили занятия раньше обычного; служащие дрожали за своими столами от пронизывающей сырости, а рабочие, исправлявшие на улице электричество, спешили укрыться под навесами соседних домов. Кумби Мозес один из немногих не закрыл свою лавку. Он стоял за прилавком и, сам того не зная, предоставил возможность двум переодетым полицейским рыться на полках с запчастями — краденными в том числе. На этот раз ему здорово не повезло.

На несколько минут лучи солнца пробились сквозь тучу, и дождь поутих. Белая женщина, что жила неподалеку от дома Кодуа, вышла на балкон и, прищурившись, посмотрела на небо. Сверху лилось необычайно яркое сияние, на мгновение ослепившее ее и заставившее укрыться в полутьме дома.

Почти у каждого дома резвились под дождем голые ребяташки, наслаждаясь теплыми струями воды и не слушая увещаний взрослых. Те же настойчиво звали их под крышу, грозя простудами и лекарствами. Но пока их матери дрожали от сырости в промозглой полутьме домов, ребяташки плясали, взявшись за руки и распевая песни, потому что нет ничего веселее июньского дождя. А дождь лил весь день напролет, лил и тогда, когда весь город уснул. Скоро засверкали молнии, загрел гром. Кодуа заснул крепким сном. Его убаюкал стук капель по крыше.

Однако около трех он беспокойно заворочался в постели и проснулся. На этот раз его разбудил не голос Кумби

Мозеса, но глас дождя, лившегося на постель сквозь худую крышу. Мальчик очень удивился: вроде раньше он не замечал, чтобы крыша текла. Он сначала просто не поверил себе, решил, что ему снится. Но его постель была мокра, хотя дни, когда он просыпался оттого, что намочил в постель, давно прошли. Это случалось в далеком детстве, он был тогда совсем несмышленишем, только из колыбели, и с тех пор минуло шестнадцать лет. Младшие братья спокойно спали, посапывая вразнобой. Ничего не оставалось, кроме как сидеть, сетовать на невезение и проклинать силы небесные, создавшие его и подарившие ему родителей, которые не могли дать своим детям иного жилья, кроме каморки из рифленого железа...

Пока он придумывал новые и новые проклятия, вода в каморке поднялась до колен. Вокруг плавали обрывки бумаги, куски древесного угля, пластмассовые тарелки, пустые календари и бог знает что еще. На улице поток уносил даже кур, и самое громкое и безудержное кудахтанье не могло им помочь.

Когда на рассвете первые солнечные лучи пробились сквозь быстро несущиеся тучи, ливень умерил свой натиск. Уровень воды на улицах сильно понизился, поток замедлил свое течение.

Вечерние газеты поместили драматические отчеты о разрушениях и ущербе, причиненных ливневыми дождями. По всей стране множество старых домов были снесены ветром и потоками воды либо дали трещины и стали непригодны для жилья. Полой водой унесло в море даже коз, не говоря уж о всякой мелкой живности. Были разрушены мосты, снесены с дорог и застряли в кюветах машины. Главное шоссе, ведущее через всю страну к побережью, вышло из строя, так как мост через реку рухнул. На той стороне так и остались стоять самосвалы и автобусы, некоторые даже с пассажирами. Повреждены были и железнодорожные пути, так что расписание движения поездов нарушено.

Были и сообщения о погибших. Из некоторых лачуг в трущобах водой унесло младенцев, спавших рядом с роди-

телями, кое-где были обнаружены тела захлебнувшихся. Весь город выглядел грязным и ободраным. Многие учреждения временно прекратили работу. Одни религиозные фанатики кричали о «наказании, ниспосланном свыше», другие призывали умиловить разгневанных богов.

Тут-то наш друг Кумби Мозес и решил воспользоваться подходящим случаем. Он редко читал свои проповеди по вечерам, и необычность происходящего привлекла множество зрителей. Кто пришел по своей охоте, кого привел случай, но уличную проповедь Кумби Мозеса в необычном, присущем лишь ему, стиле слушала целая толпа.

Он стоял, выпрямившись во весь свой огромный рост. Худым его никак нельзя было назвать, но и лишнего жира на его мощном теле не было. Нос его — тонкий, с высокой переносицей — мог бы принадлежать и белому человеку. Глаза были темные, белки нечистые. Но совершенно необычное выражение его лицу придавала борода, пронизанная там и сям седыми прядями. Белое одеяние, доходившее до колен, делало его похожим на тех маламов, что все свои дни проводят в молитве.

Перед ним на высоком столике, покрытом белой тканью, лежало с полдюжины монет. Такие вот поборники веры, ловко обставляющие свои проповеди, прекрасно умеют выманивать у бедняков деньги: монеты на столике у Кумби Мозеса просто и ясно давали присутствующим понять, как им следует поступать.

Видя, как растет толпа, Мозес некоторое время хранил молчание. Затем он вышел из-за столика и стал пожимать руки стоящим в толпе. Забавно было видеть, как он делает это, приветливо улыбаясь каждому. Однако улыбались одни только губы. Многие из тех, кого Кумби удостоил приветствием, отвечали машинально, без особого энтузиазма протягивая ему для пожатия руку.

Церемония рукопожатий еще не закончилась, когда откуда-то вдруг подул холодный ветер; листья кокосовых пальм, обрамлявших улицу, задрожали; ореховые завязи — из тех, что послабее, — посыпались на людей. Неискушенному зри-

телю эта сцена могла бы показаться заранее запланированным действием. Место, где собрались на проповедь люди, походило на площадь, образованную скрещением двух довольно широких улиц. Этот перекресток и превратился в зал для выступления «преподобного» Кумби Мозеса. Как раз в тот момент, когда подул холодный ветер, произошла какая-то заминка. Молодая женщина лет тридцати отказалась пожать протянутую ей руку. Мозес, который во время церемонии рукопожатий распевал псалмы, сразу же замолчал. Переведя дыхание, он возопил: «Дьяволица! Дьявольское отродье содомитов! Как смеешь ты, явившись сюда, отказать мне в рукопожатии?! Кто тебя звал? Отвечай, женщина!» Та молчала, мрачно и холодно глядя на вопрошавшего. Ничего не ответив, она повернулась и пошла прочь. Женщина уже скрылась из виду, когда Кумби вдруг крикнул ей вслед: «Грехи твои да отыщут тебя!»

Все это было лишь подготовкой, прелюдией того главного, о чем Кумби пришел поговорить с народом. У него был звучный голос, доносившийся до самых дальних углов площади, и когда он бросил в толпу первые жестокие слова проповеди, воцарилась мертвая тишина.

— Грешники, господь наказал вас, и мне больно видеть, что розга господня — ливень и буря — так рано перестала опускаться на ваши спины.

Кумби полагал, что момент настал и он может доказать всем, что — как он и предсказывал! — разрушения, причиненные ливнями, суть наказание свыше за грехи его паствы. Впрочем, многие и так уже в это поверили.

Однако столь проникновенное начало выступления нашего оратора, как всегда, сменилось не вполне логичными разглагольствованиями. Кумби Мозес обратился к примерам из Ветхого завета:

— Вспомните о Ноевом ковчеге. Как он появился на свет? Отвечайте, братья мои, погрязшие во грехе, отвечайте, или глаза ваши залеплены грязью и не способны узреть непреложные истины и откровения святого Евангелия? Отвечайте, не отвратили ли вы нечуткий слух свой от сладостных пропо-

ведей посланцев божьих, несущих вам слово непогрешимого Евангелия? Мы здесь читаем — и он процитировал из шестой главы книги Бытия: «И сказал господь,— тут Кумби Мозес не преминул напомнить собравшимся, что следует воспринять в души свои слова господни,— истреблю с лица земли человек, которых Я сотворил, ибо Я раскаялся, что создал их»*. Дальше цитировать он не стал, решив, видимо, что именно эти строки в данный момент и могут сослужить ему службу.

Было уже около девяти. Незаметно для Кумби подъехала полицейская машина и остановилась неподалеку, в переулке. Кроме четырех полицейских, в ней был и Кодуа. Они сидели молча. Никто не выходил из машины. Все пятеро ждали, не произнося ни слова, а проповедь их будущей жертвы звучала над ними, словно бередящая душу мелодия.

— Слышите ли вы эти слова из книги Бытия? — продолжал он.— Да, если ныне дождь вот так пал на нас, нужно хорошенько задуматься. Воды унесли наши пожитки, разрушены мосты, посева, столь много обещавшие, прибиты к земле. И более того: наши мужчины, женщины, даже наши дети потоком унесены в море, словно обломки скал. Чему же удивляться? Вспомните, что говорится в Библии: бог разгневан делами людскими. Всемогущий гневается и не перестанет предостерегать нас, как сделал это ныне, пока не раскаемся мы в грехах наших. Всех, кто обращает к нему спину, унизит он и накажет. А вы? — Кумби протянул к толпе длинный указательный палец, выделив слово «вы», словно обвиняя тех, на кого указывал. — Вы! Молите ли вы его о прощении? — Голос Мозеса взметнулся над толпой, когда он воззвал: — Помолимся же вместе!

Снова подул с запада холодный ветер; после некоторого колебания люди в толпе склонили головы. Столь убедительно звучала проповедь Кумби Мозеса, что даже те, кто просто шел мимо, если и не начинали молиться вместе со всеми, то по крайней мере хранили молчание. Ни одного звука, кроме случайного вздоха или покашливания, не разда-

* Библия. Быт. XI; 11, 13, 14, 15.

валось над площадью. Кумби прочитал «Отче наш», и толпа снова зашевелилась.

— Братья мои во грехе,— опять заговорил он, положив руку на столик, и голос его снова набрал силу.— Мы с вами под благословением господним, ибо в прежние дни только Ной и те немногие, кто был с ним, спаслись от потопа. Бог поставил с ними завет свой. Вспомните, что сказал господь Ною: «Вот знамение завета, который Я поставляю между мною и между вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти»*. Да, господь обещал и воистину пощадил ваши жизни. Так возьмите с собою слово господне и поразмыслите над ним перед сном, и пусть будет оно вам вечным утешением.

Многочисленные слушатели видели, что горка приношений на столе, за которым проповедовал Кумби Мозес, все увеличивается. Естественно, многие решили, что в этот вечер Кумби стал самым богатым человеком в городе. Возможно, они ошибались, потому что, как он сам объяснил, блага мирские — прах, отбросы, не имеющие цены. Возможно, именно это он и решил продемонстрировать, когда, взяв в руки монеты, лежавшие в центре стола, благословил их долгой молитвой, затем шагнул в толпу, раздавая деньги окружающим. Поистине это был великолепный жест благоволения. Впрочем, раздавал Кумби лишь мелочь, крупные монеты и бумажные деньги он оставил себе. Сия редкостная процедура закончилась словами:

— Идите в люди и поступайте так же с бедными мира сего.

Среди тех, кто оказался в первых рядах слушателей, был молодой парень, хорошо известный всей округе, один из «банды Бобо», пьянчуга, хваставший, что может выдуть целую бочку. Как он попал сюда — уму непостижимо. Вряд ли его появление было вызвано желанием резко изменить свою жизнь. Этот тип и оказался «счастливым», которого Кум-

* Библия. Быт. XI; 11, 13, 14, 15.

би Мозес избрал, чтобы прочесть «Благодарение» как напутствие расходящимся. Парень неохотно вышел вперед и трясущимися руками взял протянутую ему Библию. Он колебался. Колебания эти не были вызваны неумением читать, ибо достойный юноша наверняка уже все науки превзошел. Напрягая давно отвыкшие от чтения глаза, он начал молитву.

Слушатели склонили головы. И в этот момент четверо полицейских вышли из машины и окружили Кумби Мозеса. Тот притворился, что ничего не заметил, хотя не мог не видеть их маневра, и снова забормотал слова молитвы. Непонятно было, молится ли он от души или морочит полицейских. По лицу его струйками сбегал пот. Все еще произнося слова молитвы, он медленно направился к полицейским. Неужели он сам отдаст себя им в руки? Ну что ж, он ведет себя вполне достойно!

Кумби Мозес все еще читал молитвы, когда, бросив свою паству на произвол судьбы, поднимался по ступенькам полицейского фургона.

Кофи Айду

Десятый ребенок

Эсаби быстрым движением пальцев отделила улитку от раковины и бросила ее в кипящий котел. Уронила пустую раковину в мусорную корзину, на горку таких же пустышек. Сухой стук заставил ее вздрогнуть. Он снова напомнил ей о неизбежно приближающемся... Муж возвращается — каждый нерв, каждая жилка, все в ней дрожало от напряженного ожидания. Будет ли так, что он войдет и с радостью примется за еду: она приготовила его любимый суп из улиток? Или в гневе готов будет разорвать ее на куски? Эсаби не отходила от очага, продолжая готовить обед.

С той самой минуты, как услышала, что муж возвращается, она не могла избавиться от страха. Известие это утром принес в их селение человек, который обогнал Ману в третьей от них деревне, где тот остановился на ночлег.

Сердце Эсаби сжала резкая боль. Она медленно поднялась на глинобитную террасу перед хижинкой. Оттуда поверх крыш ей хорошо был виден травянистый склон ближнего холма и утоптанная красная тропа, что вела с его вершины через пастбище к воротам деревни. Ей видны были и люди на тропе: кто-то шел вверх, кто-то вниз. Может быть, один из них — Ману? Она могла различить человека с тонким шестом через плечо и на шесте что-то, похожее на узелок. Человек шел вниз. Эсаби еще больше испугалась. А вдруг это он и есть — ее муж, сильный и храбрый, тот, что два года назад победил Офори в соревновании за право увести Эсаби в свой дом? А на плече — может быть, на плече он несет то самое лекарство? Его не было дома пять лун, и вот сегодня он возвращается!

Сердце ее забилося неровными толчками. Она ничего не могла с собой поделать — страх, что в любой момент муж может войти во двор, лишал ее сил. Что он скажет, как поступит? Поведет ли ее в свою хижину, как раньше? Станет ли, как когда-то, подхватывать припев ее песни и отмечать окончание каждого куплета низким, мужественным «йи-йии»? Да нет, он, конечно, рассердится и побьет ее. И, конечно, никто из старейшин и слова не скажет в ее защиту. Все они знают, Эсаби — жена Ману и принадлежит только ему. Все видели, как Ману на пряжи разорвал сплетенный из лиан канат и, победив Офори, увел ее в свой дом. И с тех самых пор она была его любимой женой. Так чего же ей бояться теперь, когда он наконец возвращается?

Мысленно Эсаби снова и снова перебирала то, что случилось со дня ухода мужа. Некоторые события, проплывая в памяти, не причиняли боли, не рождали страха. Но другие... Вспоминая о них, хотелось взывать к предкам о помощи. Например, разговор с Эно Адвоа всего несколько недель назад. Теперь она сомневалась, правда ли то, о чем рассказала ей эта женщина. Если правда, тем лучше. А что, если та лишь дразнила Эсаби?

В тот день Эсаби пожаловалась старшей подруге:

— Очень волнуюсь. Мужа так долго нет. Наверное, те, кто приносил мне известия о нем, его и в глаза не видели.

— Ты думаешь, он погиб? Да нет, не волнуйся. Он будет просто счастлив, когда услышит, что ты понесла.

— Почему ты так думаешь? — Эсаби взволновалась еще больше: значит, люди знают?

— Но ведь у Ману никогда не было детей. Твой будет первым. Я-то знала Ману, когда он еще жил в своей родной деревне. Он трижды женился, и поверь мне, сестрица Эсаби, никакая женщина — если только она хочет сына — не станет жить с таким мужем. — Вот что сказала ей Эно Адвоа.

Эно Адвоа много бродила по свету. Помогая мужу — он был продавцом пороха, — она ходила за ним повсюду, из селения в селение. Она и в самом деле могла знать Ману, когда тот еще жил в родной своей деревне.

Как только Эсаби узнала об этом, она поняла, почему ее муж без промедления решил пойти в Окор за лекарством. Но тогда почему же она вся дрожит при одной мысли о его возвращении? Разве не она требовала, чтобы муж дал ей десятого ребенка? И разве, послушавшись ее, не отправился он искать лекарство, чтобы выполнить это требование? Чего же она мечется в страхе теперь, когда ждет столь желанного десятого? Почему страшится возвращения Ману — ее Ману, хвалу которому пела в торжественной песне *ммобоме*?

Тени хижин далеко протянулись по земле. Скоро стемнеет. Уже недолго ждать его прихода. Где-то хрипло прокричал петух. Жди беды, ведь если все хорошо, петухи не кричат в неурочный час. Эсаби не могла сдерживать дрожь. Теперь она тихо разговаривала сама с собой:

— Не могла же я оставаться пустой так долго? Даже те, кто младше меня — во всяком случае некоторые, — уже родили на свет десятого и получили свою *баду дван* — овцу за десятого рожденного. Почему же я, у которой была даже тройня, должна от них отставать? — Она примолкла, задумавшись. Да тут еще этот... колдун... Зачем вообще... Нет, она не могла даже думать об этом. Это он — источник ее бед, обманщик, сеющий семена свои в чужую землю, хоть и обладает властью над сверхъестественной силой. Но как бы Эсаби ни пыталась очернить колдуна в собственных глазах, она не могла не чувствовать себя виноватой. Она уподобилась тем, кто под густым покровом тумана отправляется красть плоды чужих полей, не подумав, что, когда туман рассеется, следы вора будут видны всем и каждому. Чувство сожаления не уходило, Эсаби не могла с ним ничего поделать: зачем позволила она колдуну применить это лекарство? Слишком горьким оно оказалось.

Многие в селении считали, что понесла она после праздника Охум. Но были и споры, и сомнения: кто же настоящий отец ребенка, может, сам Ману?

Два года и еще несколько лун назад, когда Ману появился в селении Нтенсо, жители готовились к войне. Ману ушел из родных мест, потому что женщины там говорили, будто

кровь в его жилах разбавлена горячей водой. Война, в которой принял участие Ману, была Большая война. Он воевал, он храбро сражался. И впервые в жизни жители Нтенсо одержали победу над врагом. И вот все в селении заговорили о доблести Ману. Многие восхищались красотой его мускулистого тела. Особенно усердствовали женщины. Даже замужние ухитрились найти повод, особенно в спорах и ссорах с мужьями, чтобы упомянуть о Ману, о его бесстрашии и силе. Эсаби тоже восхищалась Ману вместе со всеми. Она была очень красива. И — что гораздо важнее — ее чтили за то, что она была запевалой в хоре женщин, славивших во время войны доблесть воинов в торжественной песне *ммобоме*. Так что можно себе представить, какие хвалы пела она Ману.

Еще до Большой войны ей стал оказывать внимание Офори, ее двоюродный брат. И хотя приготовления к свадьбе шли уже полным ходом, Эсаби вдруг почувствовала, что жить с Офори не сможет. Почему? Офори не принимал участия в войне! Не такой муж был ей нужен. Каждая женщина мечтает о мужчине, чья храбрость в трудную минуту озарит ее лицо ярким светом. Стать женой такого мужчины — как много это значит! На празднике тебе подносят пальмовое вино в чаше из человеческого черепа и дают жевать ритуальную палочку. Такие почести оказывают лишь вождю, матери вождя, военачальнику и его жене. А Ману стал во главе армии Нтенсо, после того как прежний военачальник был убит на войне. Она, Эсаби, должна быть женщиной Ману. Она потребует от Ману только одного — здорового, крепкого сына, рожденного десятым.

Эсаби не хотела стать женою Офори еще по одной причине. Его родственники были среди тех, кто обвинил ее в колдовстве, когда ее второй муж, Эгайи, упал с масличной пальмы и разбился насмерть. Эсаби очень горевала. Она родила к тому времени уже девять детей, шесть из них — от Эгайи, и ей не терпелось родить десятого. Неожиданная смерть мужа разбила все ее надежды.

Правда, еще до Эгайи она родила тройняшек от первого

мужа, чужака в этих местах. Только дети умерли, едва успев родиться. И старейшины решили: раз она выбрала себе мужа не из родной деревни, не захотела первым своим браком умилоствивить предков, предки потребовали тройняшек себе — в отместку за пренебрежение. Из-за этого старейшины заставили Эсаби уйти от мужа, а потом отдали ее Эгайи. Он упал с дерева и разбился, когда ее девятому ребенку было всего шесть лун. Старейшины, которым всегда нужно найти виновного, заявили — она убила Эгайи за то, что мы заставили ее уйти от первого мужа. Верно говорят старики: многие красивые женщины — ведьмы. Вполне понятно, что, когда Ману захотел взять Эсаби к себе в дом, она подумала: «Вот мой спаситель».

Пересудам о ее третьем замужестве не было конца. Некоторые называли Эсаби обманщицей. Другие считали, что не подобает чужаку отбивать женщину у коренного жителя деревни. Поэтому люди посоветовали Офори обратиться с этим делом к вождю.

Но вождь любил Ману, человека, который помог ему одержать победу в войне. Вождь хотел, чтобы дети доблестного воина остались жить на этой земле, и возделывали ее, и владели ее дарами. Все же, чтобы его не сочли пристрастным, вождь предложил мужчинам в честном поединке решить, кому из них должна принадлежать Эсаби. Победитель и возьмет эту женщину в свой дом.

В жаркий день на площади перед домом вождя собралось все селение посмотреть на соревнующихся. Сам вождь, его родня и старейшины деревни сидели на почетных местах в тени большого дерева. Тут же была и Эсаби, сердце которой разрывалось от желания, чтобы победа досталась Ману. Под навесом сидели соперники в одних набедренных повязках. Посредине площадки, с трех сторон окруженной толпою зрителей, прямо перед вождем, лежал огромный *нтон* — толстый канат, сплетенный из лиан. Соперники должны были по очереди попытаться разорвать канат голыми руками.

Ухнул большой тамтам. За ним вступили барабанщики и певцы, только и ждавшие этого сигнала. Подошел Офори,

склонился почтительно перед вождем, посмотрел вверх, затем вниз и начал танец. Танцуя, он постепенно приближался к канату. Приблизившись, резким движением поднял канат и попытался его согнуть, но не смог и покинул площадь. Музыка смолкла.

Пришел черед Ману. Снова — теперь уже для него — звучал сигнал большого тамтама. Несколько мгновений толпа напряженно ждала. Ману все сидел. Снова ударил тамтам. Ману не двигался, лишь тяжело дышал. Волнение толпы было столь велико, что казалось, даже воздух над площадью стал тяжелым и душным. Тамтам должен был прогреметь в последний раз. Если Ману так и не сделает попытки разорвать канат, победителем будет объявлен Офори. Время шло. Наконец раздался третий сигнал. Зрители пребывали в растерянности: Ману не двигался. Эсаби вскочила на ноги. Она уже была готова объявить всем, что выбирает Ману несмотря ни на что.

Вдруг Ману поднялся на ноги. В мгновение ока он уже стоял перед вождем. Положив ладони на колени вождя, он опустил перед ним на колени, посмотрел на небо, затем вниз — на землю. Медленно встал, с достоинством поклонился вождю и сложил руки — в ладони левой руки спокойно лежала правая ладонью вверх. Затем, кружась, словно запущенный искусной рукой волчок, Ману оказался рядом с певцами и барабанщиками и жестом пригласил их начать песню: «Твумваа, матушка моя...»

Приветственные клики, которыми зрители встретили это представление, заглушили музыку. Ману теперь стоял молча, подбоченившись, глядя то вверх, то на землю и покачивая из стороны в сторону головой. Толпа требовала танца. Требовательные голоса звучали так громко, что Ману улыбнулся. Затем повернулся к вождю и старейшинам. Поднял к небу ладони, потом опустил правую руку и легонько коснулся лба. И начал танец: изящные движения ног и в такт им — плавные жесты обращенных внутрь ладоней; то левая, то правая рука поднималась в ритме, заданном барабанами, все тело двигалось, подчиняясь прихотливой мелодии. Зрите-

ли аплодировали. Женщины приближались к Ману и воздавали хвалу танцору, вздымая руки над его головой.

Другие обмахивали его своими покрывалами, говоря:

— О, какой красивый танец, как красив ты сам!

— Вот тот, кто предлагает вино, когда просят всего лишь воды! Прекрасно, о! Ты танцуешь по-королевски!

Танцуя, Ману постепенно приближался к канату. Подойдя, схватил канат обеими руками, повернул его и так и сяк, внимательно рассмотрел. Попытался согнуть, но и ему это не удалось. Отошел, уперев ладони в бедра, и снова начал танец: изящные движения ног, продуманные жесты рук — мольба о помощи, обращенная к богам. Ману снова приблизился к канату, крепко схватил его руками за один конец, ногами наступил на другой и начал закручивать.

Когда он выпустил его из рук, канат развернулся с силой, содрогаясь, словно раненый змей. А тем временем Ману мощным прыжком перескочил с одного конца каната на другой и ухватился за него, воздев свободную руку, словно намереваясь поразить в голову огромного змея. Наконец движения каната затихли. Ману пошел вокруг него осторожными шагами, словно выслеживая залегшего в кустах зверя. Через мгновение он подпрыгнул, перекувырнулся, и, словно по волшебству, конец каната очутился у него в руках, как раз когда он встал на ноги. Проворство и ловкость Ману были столь велики, что сам вождь поднялся со своего места и захлопал в ладоши. А Ману снова и снова закручивал канат, пока из сплетенных лиан не потекла влага. И тогда Ману обеими руками разорвал канат.

Торжествующий рев толпы заглушил даже залп из мушкетов в честь победителя. Эсаби выбежала вперед и обняла мокрого от пота Ману, человека, который защитил ее народ; мужчину, удивившего и покорившего самого вождя; мужа, который даст ей сильного и здорового сына — ее ребенка, рожденного десятим.

В первый день их совместной жизни муж и жена перед отходом ко сну отведали таких замечательных жареных зерен маиса, каких и не едали в Нтенсо. Всем известно, что ды-

хание отведавшего жареных зерен становится благоуханным и нежным. Но всем известно также, что недолговечна сладость сахарного тростника.

Прошло немногим более года, и Эсаби почувствовала, что обманулась в лучших своих ожиданиях. Ману, видно, еще не стал настоящим мужчиной. Чего-то в нем не хватало. Похоже, кровь у него в жилах и впрямь была недостаточно густа. Эсаби уже не хотелось хвастаться мужем; в глазах односельчан она постоянно видела один и тот же насмешливый вопрос: когда же ты родишь этого твоего хваленного, здоровенького десятого?

Напряженность в отношениях между мужем и женой нарастала. Тщательно скрываемая до поры, она однажды утром вдруг вылилась в ссору. Жена не приготовила мужу *экайим* — кушанья из крови только что убитого оленя. Ману принес его с ночной охоты. Муж сказал:

— Не понимаю, что с тобой случилось. Чего ты ждешь? Ты хочешь, чтобы кровь свернулась и почернела? Почему ты не готовишь *экайим*? Прямо не узнаю тебя в последнее время!

— А я не могу понять, мужчина ты или нет, хоть ты и совершил все эти знаменитые подвиги. У тебя что, бананами уши заткнуты, глаза грязью залепило? Ты что, ничего не слышишь и не видишь? Так поглупел, что не замечаешь, как над тобой смеются? Когда я получу свою овцу?

Конечно, Ману сразу ее понял. И в самом деле, Эсаби была не только красива, но и умна, во всяком случае, Ману так считал, и Эсаби об этом знала. Ничуть не боясь мужа, она заявила, что он, видать, из тех неудачников, у которых и ямс на поле не в ту сторону растет.

— Потерпи, моя красавица, моя добрая жена, — сказал Ману мягко. — Время еще не пришло. Оно придет. Обязательно.

— Это ты так считаешь, — возразила Эсаби громко, чуть не срываясь на крик. — Сколько мне еще ждать? Ай-ай, Ману! Сильный и прекрасный! Ману, разорвавший голыми руками канат и победивший соперника! Ты привел женщину

в свой дом, так дай же ей десятого ребенка! Не потом когда-нибудь, а сейчас! — Она перевела дыхание. — Не то я уйду от тебя. Теперь я вижу, что иметь мужа-воина — это еще не все. Такой союз должен быть увенчан *баду* — десятым рожденным... А я отказала Офори... о-о Офори! — она рыдалась.

Значит, теперь и Эсаби покинет его? Неужели она не догадалась, что он взял ее в жены, надеясь, что ей уже не хочется больше рожать? Сможет ли он когда-нибудь найти жену, которая не станет требовать, чтобы он дал ей ребенка?

На следующий день Ману отправился к колдуну.

— Я знаю, в чем дело, — сказал тот. — Дело в тебе, друг, не в Эсаби. Ребенок — красивый и сильный мальчик — спит в животе у твоей жены. Но он проснется и начнет расти, только если ты доберешься до Окора и принесешь песок с того самого места, где воды великой реки Фирау сливаются с водами моря.

У Ману будет сын, если только от принесет песок из Окора! Он справится с этой задачей. Его не испугают враждебные племена. Конечно, ему придется пробираться через лесные чащи, сквозь топи болот. Он истратит все раковины каури, что у него есть, но у него будет ребенок — сын, который назовет его *ме се* — «отец»!

Лишь одна луна миновала с тех пор, как Ману отправился в опасное путешествие. Пришел праздник Охум — время, когда любое желание человека исполняется, если как следует попросить об этом предков. Эсаби попросила десятого ребенка. Обычай требовал, чтобы каждая просьба, обращенная к духам предков, произносилась в присутствии колдуна. Так и случилось, что в этот вечер Эсаби оказалась с колдуном один на один в тускло освещенной хижине.

— Разденься совсем и приляг на это ложе. Возьми это лекарство и смажь им грудь и живот. Делать это надо с закрытыми глазами. И запомни: обо всем, что здесь произойдет, должны знать лишь ты и эти стены, иначе лекарство не подействует. — Так сказал колдун и вышел из комнаты.

Чуть позже Эсаби почувствовала, что в комнате кто-то есть. Кто-то оказался рядом с ней. Чье-то горячее, прерывистое дыхание обожгло лоб. Она поняла, кто это, хотя глаза ее и были плотно закрыты: кожу царапали бесчисленные амулеты и кожаные полосы, оплетавшие тело пришедшего к ней. Но она должна была хранить молчание — ведь это был колдун, могучий исцелитель... и вправду могучий!

В следующем месяце Эсаби не увидела прихода луны. Это могло означать только одно — она понесла. Женщина обрадовалась. Она будет очень любить этого ребенка. Она назовет его Баду — десятым рожденным, — и пусть устыдятся те, кто сплетничал и злорадствовал за ее спиной. Но как быть с Ману? Что он скажет? Примет ли ее с будущим ребенком после того, что совершил ради своего собственного? Его не было пять лун, и вот он возвращается. Сегодня.

Пришла ночь, а Ману все еще не появлялся. В хижинах затеплились глиняные светильники. Эсаби прилегла на бамбуковую лежанку. Тревожные мысли не покидали ее. Глаза были полны слез. Наверное, не зря в неурочный час прокричал петух. Быть, быть беде... Придет беда... Но какая? Может быть, возвращение Ману несет ей смерть?

Она поднялась, вышла к очагу и внесла в дом кушанья, приготовленные для мужа. Поставила блюда на глиняное возвышение и снова вышла — приготовиться к смерти. Оттуда, где она стояла, ей видны были слабые огоньки, передвигавшиеся вверх и вниз по склону холма. Сердце забило быстрее. Час настал. Он возвращается. Один из огоньков двинулся в сторону ее дома. Это он. «О Ману, прости меня!»

Эсаби показалось, что она спит и видит сон. Нет, ей не померещилось — циновка из рафии, закрывавшая вход в хижину, в самом деле зашуршала. Кто-то в хижине был. В мерцании светильника мужчина был хорошо виден. Тело его блестело от пота, и он выглядел таким усталым... как будто только что разорвал канат. Казалось, он чего-то ищет... чего-то, чем можно ударить...

Так он здесь, он не на холме, как ей представлялось.

В страхе Эсаби отвернула лицо. О духи предков, снова кричит петух!

— Эсаби, жена моя, где же ты? Я вернулся! Подойди, встреть меня, давай же поздороваемся! — Голос звучал устало. Эсаби боялась ответить. Ей захотелось уйти, убежать далеко, подальше от Ману. Но куда, к кому? Ману вышел из хижины. На фоне тускло светящегося неба он увидел женскую фигуру с выступающим животом.

— О Эсаби, моя дорогая, жена моя, иди же ко мне! Я все знаю.— В голосе Ману звучала радость. Разве не говорил ему колдун, что ребенок спит в животе Эсаби и начнет расти лишь тогда, когда Ману принесет песок из Окора? Наконец кто-то скажет ему: «Отец!»

— Прости, прости меня, Ману! — услышал он голос жены.

— Жена моя, о чем ты печалишься? Я отец ребенка, и я знаю — это будет мальчик, здоровый и красивый. Я назову его в честь моего отца, а ты, ты, моя дорогая, моя жена, ты, кто умеет приготовить такой вкусный суп из одной лишь крабьей клешни; ты — жена воина, одной веточкой убивающая удава; красавица, тело которой так упруго, что даже пояс из колючих бус не причиняет тебе боли,— ты можешь называть его Баду — десятым рожденным.

Эсаби медленно повернула к мужу лицо. Ману протянул к ней руки. Молча они приближались друг к другу. У двери они обнялись, и в этот самый миг огонек светильника в хижине погас.

Отвори мне, любовь моя, дверь отвори...

Протяни ко мне руки, уста раствори:

День настал, и я возвращаюсь.

Путь был долог и труден,

Подошвы мои

Истоптались,

Ведь я шел по камням.

Мне порой не хватало еды.

Я прошел сквозь леса и долины,

И долгие ливни долбили
Мои плечи и спину.
Я промок до костей,
А кусты и деревья, что прежде
Не страшились дождей,
Погибали в потоках воды.
Встреть меня, протяни мне сухую одежду,
Дай омыть мои ноги от праха и глины,
Посмотри — их изранили острые камни.
Приготовь мне постель,
Я устал.
Будь со мной в эту ночь, ты нужна мне.

Кваме Ньяку

Чувство справедливости

Вот уже в третий раз он вместе с этим типом Дайвом предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. Адвокат Дайва объявил, что своего добьется, и добился-таки: к концу третьего заседания его подопечного и оправдали, и освободили из-под стражи, а Тотоблито признали виновным и приговорили к трем годам тюремного заключения.

Его отвели в камеру под номером Е-7 Центральной тюрьмы. Новенькому полагалось спать возле параши, и, расстелив на полу одеяло, он устало опустил на свою «постель» и уже совсем было заснул, когда услышал, как рядом кто-то настойчиво потребовал: «Шшш, тише! Тихо, говорят вам! Армстронг будет говорить». Когда стало достаточно тихо, некто — видимо, этот Армстронг — заговорил: «Джентльмены, как известно, у нас появился новый коллега. Поскольку он будет отныне делить с нами хлеб и кров, то в соответствии с обычаем должен пройти обряд посвящения в наше общество».

Говоривший был тощим лысым человечком, этаким тюремным Агасфером, из тех, что большую часть сознательной жизни проводят в тюрьме за махинации с золотом и драгоценностями. Армстронг пользовался безусловным уважением со стороны сокамерников. Тюремное начальство также ценило его, потому что при нем в камере всегда поддерживались порядок и дисциплина, и в знак своего расположения обеспечило его настоящей постелью.

— Пусть подойдет. Мы начинаем испытание, — сказал Армстронг.

До новенького не сразу дошло, что обращаются именно к нему, и он продолжал лежать, когда слова эти прозвучали

во второй, а затем и в третий раз. Тогда какой-то громила, сидевший по-турецки на своем одеяле, поднялся на ноги, выпрямился во весь рост и двинулся к новичку. Подошел, поднял его за шиворот одной рукой и с грохотом поставил на ноги. Потом дал легкого пинка, в результате которого новичок, пролетев несколько метров по воздуху, оказался прямо перед Армстронгом. Сон у него, разумеется, как рукой сняло.

— Спасибо, Коммандо,— с достоинством поблагодарил Армстронг гиганта. Затем, задавая вопросы словно перво-классный юрист, сделал так, что новичок как бы сам рассказал, что зовут его Нана Тотоблито Второй, что он марабут*, травник и, кроме того, второй по величине колдун-прорицатель в своей округе. Он сообщил также, что его покойный отец, Нана Тотоблито Первый, был неофициальным консультантом по оккультным наукам у бывшего президента страны благодаря своему редкостному дару — видеть будущее. И он, Нана Тотоблито Второй, к счастью, унаследовал это качество.

— Почему вы оказались здесь? — сухо спросил его Армстронг.

— Помогал другу выпутаться из неприятной истории и сам в беду угодил.

— Расскажите суду, что именно с вами произошло.

Дело было так. Мельник Фоли имел от своей совершенно новенькой мельницы одни неприятности — машина непрерывно ломалась. Истратив на ремонт порядочную сумму, он решил выяснить, в чем же все-таки дело, и пожаловался на свои беды марабуту по имени Дайв. После загадочных манипуляций с разнообразными амулетами Дайв объявил:

— Кто-то наложил заклятие на твою мельницу, и пока заклятие не будет снято, никакого дохода от нее ты не получишь.

— А ты знаешь, кто это сделал? — с надеждой спросил Фоли.

* Африканский мусульманский священник, выполняющий одновременно функции прорицателя, знахаря и даже колдуна.

— Блохе, прежде чем укусить, надо ведь под одежду забраться, не так ли?

— Значит, это кто-то из моих родственников?

— Это совершенно очевидно, однако не настаивай, чтобы я называл его имя,— сказал Дайв.— Это может принести несчастье.

Однако марабут быстро дал себя уговорить и как бы между прочим обратил внимание Фоли на то, как хорошо живет его младший брат.

— Мой младший брат? Неужели злоумышленник — это он! Но что именно он сделал? — никак не мог поверить Фоли, у которого ни разу не было случая усомниться в любви и преданности брата.

— Он кое-что закопал под твоей мельницей. Оно и сейчас там.

— А ты можешь это обезвредить?

— Конечно. Это мое ремесло. Тебе нужно только приготовить все необходимое, а о плате за труды мы поговорим, когда дело будет сделано.

Фоли достал все, что велел марабут, а Дайва между тем начал беспокоить исход дела, ибо насчет брата Фоли он, разумеется, соврал. Теперь главной его задачей было найти возможность закопать кое-какие предметы у мельницы, и он обратился за помощью к Тотоблито. Тот сначала колебался, но потом согласился.

И вот в день ярмарки, когда множество людей собралось на мельничном дворе, чтобы смолоть зерно, Тотоблито, решив, что в толпе его не заметят, начал поспешно рыть ямку в углу двора.

— Эй, что это ты здесь делаешь? — вдруг спросил кто-то.

— Ничего.

— Но я же видел, что ты рыл яму! А зачем? Ну-ка отвечай!

Привлеченные шумом, вокруг них стали собираться люди, и испуганный Тотоблито бросился бежать. Вслед ему тут же понеслись крики:

— Вор! Держите вора!

Бежать было трудно — Тотоблито расталкивал локтями людей, перепрыгивал через мешки с зерном и не заметил, как в спешке выронил нечто, завернутое в большие зеленые листья. Сверток развалился, и содержимое его высыпалось на землю. Там были собачья голова, высушенный хамелеон, коготь вороны и причудливо переплетенные связки раковин каури. Пока наиболее настойчивые преследовали беглеца, остальные собрали колдовские предметы, изобличившие его.

Тотоблито быстро поймали и, наверное, избили бы до полусмерти, если бы не заметили особых шрамов на лице и на спине и связок каури на запястьях и лодыжках, означавших, что он колдун. Тогда его отправили в полицейский участок. Полицейские тоже опасались дьявольских сил и ничего ему не сделали. Тем не менее Тотоблито во всем признался. Его соучастник Дайв был немедленно арестован, и оба они предстали перед судом. Однако Дайва, к полному изумлению Тотоблито, оправдали и освободили из-под стражи, а его самого приговорили к трем годам тюремного заключения.

Армстронг довольно долго молчал, затем спросил:

— Как, по-вашему, допустимо сеять раздор между братьями и брать за это деньги?

Тотоблито не ответил.

— Если вы один раз согласились помочь кого-то одурачить, значит, и в другой раз поступите так же — была бы возможность заработать. Вы, марабут, которому доверяют свои самые сокровенные тайны, используете доверие людей, чтобы их же обмануть. Разве это допустимо?

Поскольку Тотоблито продолжал молчать, Армстронг обратился к сокамерникам:

— Джентльмены, у нас здесь уже был один священник. Он называл себя христианином. Помните?

Похоже, никто этого не помнил.

— Помните ли вы некоего Ософо, что провел с нами восемь месяцев лет пять тому назад? Тот, что обещал женщинам поведать ниспосланное ему божественное открове-

ние и либо брал у них деньги, либо спал с ними. Разве вы его не помните?

— Да-да, я помню,— подтвердил кто-то.— Это тот, что ни слова не знал из Библии, а еще христианином назывался?

— Совершенно верно. Так вот, теперь перед нами аналогичный случай, и наказание, разумеется, должно соответствовать тяжести совершенного преступления.

Затем Армстронг прочистил горло, и голос его зазвучал еще более официально и строго:

— За попытку посеять вражду между невинными людьми вы приговариваетесь к четырем пощечинам. Кроме того, вы будете выносить парашу в течение двух недель — нет, в течение месяца, начиная с завтрашнего дня.

Огласив приговор, Армстронг вызвал одного из своих помощников для исполнения его первой части, однако тот заупрямился:

— Ты хочешь, чтобы я ударил колдуна? Даже если бы я был глух, и то понял бы,— глаза-то у меня есть! — что это за птица. Предположим, я ударю его, а моя правая рука возьмет и отсохнет. Чем ты мне тогда поможешь?

Услышав эти слова, Тотоблито от удовольствия улыбнулся во весь рот. Однако улыбка быстро исчезла с его лица, потому что безо всякого приказания со стороны Армстронга на него набросился Коммандо и начал безжалостно избивать. Заключенным пришлось срочно разнять их, пока дело не приняло трагический оборот. Когда Армстронгу удалось восстановить относительную тишину, он попросил Коммандо объяснить свое поведение. Тот моментально скинул рубаху и медленно повернулся кругом, чтобы каждый мог полюбоваться покрывавшими его тело страшными шрамами.

— Видите? А знаете, откуда это? Битые бутылки. Мне нанесли шесть ран на спине и две на груди, потому что я поверил одному гаду, вроде вот этого колдуна.— Коммандо осмотрелся и убедился, что его все слушают. Потом вдруг рявкнул: — Яо, Кофи Менза и ты, Квами, подойдите ближе! Слушайте, что сделал со мной человек из вашего гнусного племени ибо!

Двадцать лет тому назад, когда Коммандо было лет восемнадцать, он жил в Кумаси и считался одним из активистов Народной партии конвента*. В обязанности молодых активистов входило поддержание порядка во время митингов, организуемых НПК, деятельности которой постоянно пыталась помешать оппозиционная партия**. Между политическими противниками происходили яростные стычки, и в ход пускались дубинки, велосипедные цепи, ножи, бутылки с горючей смесью и вообще любое оружие, оказавшееся под руками. В результате кому-то выстрелом сносило половину физиономии, у кого-то оказывались выпущенными кишки или утрачена конечность, кто-то лишался глаза или уха.

Коммандо и его дружкам пока везло, и они выходили из подобных переделок, отделавшись, как говорится, легким испугом. Однако чувствовали, что нельзя дольше полагаться на счастливую случайность, если речь идет о собственной безопасности, и решили искать помощи у известного колдуна Адаму Банда, который славился тем, что не боялся никакого оружия.

В то время жил в Кумаси один дагомеец, и поговаривали, будто он обладает куда большим могуществом, чем Адаму Банда. Звали его Атидахо. И вот, когда все остальные направились к Адаму Банда, Коммандо предпочел пойти к Атидахо, надеясь получить совершенно исключительное средство для самозащиты.

Явившись к Атидахо с визитом, он был препровожден одним из прислужников к круглой хижине, стоявшей чуть поодаль от остальных. Перед входом в нее росло небольшое деревце. В развилке, образованной тремя наиболее крупными его ветками, был укреплен черный горшочек, над которым висел полувыпотрошенный цыпленок с вываливающимися наружу кровоточащими внутренностями. К этим же веткам была подвязана циновка, заменявшая дверь.

* Прогрессивная партия, лидером был К. Нкрума. Образована в 1949 году. Выдвинула лозунг «Самоуправление немедленно».

** Видимо, имеется в виду Объединенная партия, образованная в 1957 году и представляющая интересы феодалов, вождей и компрадорской буржуазии.

Подойдя поближе, они услышали доносившееся из хижины странное пение.

— Давайте немного подождем, — предложил слуга. — Он сейчас молится.

Когда пение стихло, они вошли внутрь.

Стены хижины были расписаны яркими красками — красной и зеленой. У одной стены — нечто вроде невысокого алтаря, на котором лежали боевые мечи, колокольчики, бутылки, перья и разные другие предметы, щедро окропленные кровью. Над алтарем висело множество конских хвостов — некоторые белые, остальные черные.

Алтарь окружали два или три ряда разнообразных горшков и калebasов. У противоположной стены — очаг с горящими в нем поленьями. Окон в хижине не было, и там стоял смрад — запах несвежей крови смешивался с кисловатым дымом из очага.

На леопардовой шкуре восседал сам Атидахо. Это был крупный, мускулистый человек с начисто обритой головой, смазанной маслом. Два ряда бус из раковин каури украшали его волосатую грудь подобно перевязи испанских конкистадоров. Не успел Коммандо войти, как Атидахо заметил:

— Значит, пришел-таки? Я знал, что придешь, потому что не к лицу тебе умирать как последнему дураку.

Такое начало произвело на Коммандо хорошее впечатление, хоть он и удивился, откуда этот человек успел все о нем прознать.

Когда Коммандо поведал о своем желании стать неуязвимым для любого оружия, Атидахо сказал:

— Ты мудро поступил, что обратился именно ко мне. Но плата будет немалой, ибо все должно быть сделано в точности так, как того требуют боги.

Оказывается, богам требовалось: десять коз и десять козлов, десять кур и десять уток, десять овец и десять баранов, десять голубей и десять попугаев и вдобавок десять бутылок красного пальмового масла.

Коммандо просто обалдел. Душевное смятение явственно отразилось на его лице, потому что колдун быстро сказал:

— Для тебя сделаю особую скидку. Дай мне только пятьдесят ганских фунтов для покупки самого необходимого, а остальное я обеспечу сам.

Коммандо уплатил названную сумму, и Атидахо показал ему какие-то белые камешки, которые якобы собрал на берегу океана в Аккре.

— Я приготовлю их особым способом, и к концу недели они станут мягкими. В следующий раз ты съешь их, и тебя никогда уже не смогут поразить ни пуля, ни острый кинжал,— заверил Коммандо колдун.

В назначенный день Коммандо явился к Атидахо, и тот вручил ему калекану с какой-то вонючей слизистой жидкостью, в которой плавали «камешки», очень похожие на вареную фасоль.

— Ты должен проглотить сто камешков. Это необходимо,— сказал колдун.

После первых тридцати Коммандо чуть не вырвало, однако Атидахо одним прыжком оказался возле него и отвесил ему здоровенную оплеуху. Приступ тошноты мигом прошел.

Коммандо продолжал глотать, пока на пятьдесят четвертом «камешке» его снова не затошнило. Тогда Атидахо схватил его за оба уха и резко потянул в разные стороны. И снова тошнота прекратилась. С завидным упорством Коммандо продолжал глотать, пока не достиг семидесяти семи.

— Достаточно. Семьдесят семь — хорошее число.

— Но мне показалось, что нужно сто...

— Это я специально сказал, чтобы ты повыше целился!

Затем Атидахо велел Коммандо семь раз повернуться кругом против часовой стрелки, а потом обтереться жидкостью из красного горшка, стоявшего отдельно, в углублении в полу. Потом минут пятнадцать колдун бормотал какие-то малопонятные заклинания и наконец сказал:

— Отныне и на всю жизнь ты неуязвим для пули, сабли и кинжала, для летящей стрелы или копья и для любого другого оружия!

Коммандо летел назад как на крыльях, чувствуя себя совсем иным человеком — вдвое увереннее в своих силах.

Следующую серию политических митингов Народная партия конвента устроила в Кумаси. Горя желанием проверить свою неуязвимость в деле, Коммандо первым бросился на активистов оппозиции, когда дело дошло до драки. Прежде чем он успел хоть что-нибудь сообразить, его несколько раз сильно пырнули горлышком битой бутылки и бросили, сочтя убитым.

— Я очнулся только в госпитале, где провалялся целых три месяца,— рассказывал Коммандо.— Как ни странно, эти три месяца оказались самыми приятными в моей жизни: за мной ухаживала такая стройненькая милашка, что я бы с удовольствием на ней женился. Она кормила меня с ложечки и каждый день купала... Была так добра... Жаль, что испугалась моей величины...

— Величины чего? — встрял кто-то с гнусным намеком.

Заключенные разразились смехом, улюлюканьем и разнообразными непристойностями; в шуме потонуло даже приказание Армстронга замолчать. Наконец стало относительно тихо, и Коммандо удалось закончить свой рассказ:

— Выйдя из госпиталя, я, разумеется, сразу пошел к Атидахо требовать назад свои денежки. Но он даже говорить со мной не стал: сразу рассыпал по полу какой-то черный порошок — в одной половине хижины он, в другой я. И заявил, что если я перейду на его половину, то сразу ослепну, сойду с ума, а потом умру в страшных мучениях.

Ну тут я совсем взбеленился. Одним прыжком пересек дурацкую линию и сцапал его. Клянусь, никогда я не получал большего удовольствия! Я колошматил его до тех пор, пока проклятый колдун не грохнулся оземь, треснувшись при этом башкой об один из своих гнусных горшков. Горшок разбился, и содержимое высыпалось на пол — золотые украшения и слитки, бриллианты, фунтовые билеты, свернутые в трубку и перевязанные веревкой... Я прямо остолбенел. Сначала я смотрел на это богатство и глазам своим не верил, а потом до меня дошло, что я и сам прекрасно могу вернуть себе то, что мне должен Атидахо. Я отодвинул его с дороги, набил доверху карманы и быстренько ушел. А он

так и остался там лежать да стонать. С тех пор прошло не меньше двадцати лет. Я не ослеп, не сошел с ума и не умер. Больше того, сам-то Атидахо после того случая прожил всего недели три. Говорили, что у него было сломано несколько ребер и отбиты все печенки.

Коммандо минутку помолчал и глубоко вздохнул, словно пытаясь подавить новую вспышку гнева. Потом подошел и остановился возле Тотоблито. Тотоблито вовсе не был коротышкой да и худобой не отличался, однако рядом с Коммандо он выглядел как странный бородатый мальчишка.

— А теперь дозвольте мне разка два дать по шее этому вонючему колдуну — за то, что такой же, как он, сделал со мной.

— Коммандо,— вмешался Армстронг,— ты же сам сказал, что тот колдун умер. Наказывать другого человека за пакости, совершенные покойным, несправедливо!

— Я не только о себе думаю! Колдун — он и есть колдун! И этот, небось, не одного человека вокруг пальца обвел и не поморщился. Вот я и хочу его за это наказать.

— Твои аргументы несостоятельны, и суд не может удовлетворить твою просьбу,— твердо ответил Армстронг.

— Ну ладно! Но спросите его, не отсохнет ли моя правая рука, не сойду ли я с ума и не умру ли — я ведь побил его.

Тотоблито дрожащим голосом заверил, что не причинит Коммандо никакого зла.

— А ну получай щелбана, чтобы впредь не высовывался и ждал, пока спросят! — заорал Коммандо.

— Тем не менее ты слышал его ответ,— снова вмешался Армстронг.— Он сказал, что ничего плохого не сделает.

— Еще бы! Если бы он ответил иначе, я бы ему еще не так врезал! — заявил Коммандо, сопровождая свои слова двумя звучными оплеухами.

Вот так Коммандо удалось-таки удовлетворить свое оскорбленное чувство справедливости. Сокамерники прекрасно понимали, что он нарушил тюремные правила, однако, опасаясь невероятной физической силы Коммандо, постарались найти для него смягчающие вину обстоятельства.

Мейбл Доув-Данква

Предвкушение

Вождь племени аквазин Нана Адаку II торжественно отмечал двадцатилетие своего правления. Отовсюду, даже из самых отдаленных уголков, стекались в город Нкваби его подданные.

На улицах редко можно было видеть людей в европейской одежде. Почти все были в исконных нарядах Золотого Берега. Мужчины щеголяли в плетеных сандалиях и ниспадавших с одного плеча традиционных кенте из пестрого бархата или яркой домотканой материи. Величественно вышагивали, позвякивая золотыми сережками, браслетами и цепочками, женщины в национальных одеждах. Барабаны отбивали ритм благодарственных молитв.

Празднества проходили в разгар сбора и продажи бобов какао, всюду слышался звон монет, фермеры тратили деньги направо и налево. Встретившись после долгой разлуки, друзья не скупилась на виски, джин, шампанское. За разговорами о новостях, воспоминаниями о былых временах принесенная в дар бутылка осушалась порой самим подарившим. Впрочем, никого это не смущало, настроение у всех было приподнятое.

В четыре часа пополудни люди неторопливо направились в главный парк города, где все было подготовлено для празднования одвиры*. Там и сям виднелись беседки из пальмовых листьев.

Оманхене, верховный вождь племени, в золотой короне и расшитом золотыми бусинками кенте, прибыл в паланкине

* Одвира — традиционный праздник народности тви, который отмечают в Гане в сентябре—октябре. (Примечание автора.)

под пестрым праздничным зонтом. На грудь правителя бесчисленными рядами спускались золотые ожерелья, а широкие золотые браслеты скрывали руки от кисти до локтя. В руке он держал разукрашенный слоновый хвост, которым приветственно махал ликующей толпе. Мальчик лет двенадцати, олицетворяющий душу вождя, сидел напротив него, сжимая в руках меч — символ верховной власти.

За Оманхене, утопая в пышных одеждах из зеленого и красного бархата, следовал Адонтехене, второй по значению человек племени. На его голове красовалась повязка, отделанная золотыми пластинами.

Один за другим под яркими зонтами прибывали вожди селений. Каждый раз, когда на землю опускался очередной паланкин нескончаемой процессии, барабаны отмечали это победоносным громом, и в толпе раздавались восторженные клики.

Оманхене уселся на помосте рядом с районным комиссаром капитаном Хоббсом и старейшинами племени. Шут Саса в нелепых пестрых штанах и шапке из обезьяньей кожи корчил рожи перед Оманхене, искоса поглядывая на него, кувыркаясь, кривляясь, но вождь даже не улыбнулся: по этикету ему не полагалось смеяться на виду у всех.

Городской парк являл собой захватывающую картину языческого великолепия. Вожди, каждый со своей свитой, расположились под праздничными зонтами всевозможных цветов. Сверкали на солнце золотые жезлы жрецов и гриотов*. Женщины в вышитых нарядах из пестрого шелка или бархата, с великолепными прическами, украшенными золотыми шпильками и заколками, напоминали роскошных тропических бабочек. Юноши в развевающихся кенте степенно прохаживались по площади; на головах у них сверкали повязки из переплетенных шелковых лент.

Под непрерывную дробь барабанов, задававших ритм, де-

* Гриоты — африканские народные историки и сказители. Каждый знатный род обычно имел собственного гриота-архивиста, который жил и кормился при дворе своего господина, а часто и воспитывал его детей.

вушки начали ритуальный танец. Они порывисто устремились вперед, затем, плавно поводя плечами, разделились на два ручейка. Особенно хороша была танцовщица в кенте с рисунком из красных, синих и зеленых квадратов, которая двигалась с легкостью и очаровательной грацией дикого лесного зверька. Оманхене, пронзенный ее красотой, бросил танцовщицам пригоршню монет. Девушка улыбнулась, когда на нее со звоном посыпался золотой дождь. Все, кроме той, которой предназначался щедрый дар, начали быстро подбирать монеты. Она же как ни в чем не бывало продолжала танцевать.

Оманхене обратился к своему преданному гриоту:

— Кто эта прекрасная танцовщица?

— Увы, я не знаю ее.

У пятидесятилетнего Наны Адаку II было сорок жен, но новая красавица взволновала его так, будто он всю жизнь — в награду или в наказание — прожил с одной-единственной женой. Желание нестерпимым огнем обожгло его. Все сорок жен настолько наскучили вождю, что в последнее время он забывал даже их имена. Его последняя, молодая, жена разрыдалась от обиды, когда он назвал ее Одой — именем своей первой жены, старой и уродливой.

«Эта танцовщица совсем не похожа на них,— подумал вождь,— с ней во дворце станет веселее». И он снова повернулся к толкователю:

— Я заплачу за нее сто фунтов.

— Но, Нана, возможно, она уже замужем.

— Ее муж получит отступного — сколько захочет.

Гриот отлично знал своего Оманхене: если уж ему приглянулась какая-нибудь красотка, он добьется своего.

— Возьми у главного казначея пятьдесят фунтов, найди ее родственников, отдай им деньги; оставшиеся пятьдесят фунтов она сама получит вечером во дворце. Передай свой жезл Коджо и немедленно приступай к делу.

Нана Адаку II не любил тратить время попусту. Попадая под власть женских чар — будь то нежный голосок, блеск глаз, точеная ножка,— он становился нетерпеливым,

неистовым и не находил покоя, пока не добивался желанной цели. В этом он не отличался от большинства мужчин. Но мужчины — циники и способны, расточая комплименты, соблазняя и соблазняясь, предусмотрительно думать о том, как бы не связать себя на всю жизнь по рукам и ногам. С другой стороны, и сами женщины в этом смысле теперь гораздо рассудительнее. Их не слишком волнует мужская красота. А потому и свадьба заманчива лишь в том случае, если у избранника туго набитый кошелек и прочное положение в обществе. Так, кстати, возникает и новый тип современной женщины — практичной, по-мужски расчетливой. Такая или ищет мужа, непременно совмещающего качества прекрасного любовника с достоинствами состоятельного покровителя, или вообще не выходит замуж.

Но пора вернуться к Нане Адаку II, которому к шести часам уже приелось шумное сборище, и он с облегчением вздохнул, вновь очутившись в своем паланкине.

Заколыхались праздничные зонты, вожди уселись в паланкине, забили барабаны, еще громче зашумела толпа...

Вскоре спустились сумерки. Опустели беседки из пальмовых листьев, устроенные в городском парке.

Приняв ванну, Оманхене облачился в зеленое одеяние, расшитое золотом, и удобно расположился в уютной гостиной на обитом бархатом диване. Двое слуг обмахивали его с обеих сторон опахалами из страусовых перьев. Конверт с пятьюдесятью фунтами дожидался своего часа. Оманхене знал, что его гриот — человек расторопный, не лишенный дипломатических способностей, можно не сомневаться, что уже сегодня прелестная незнакомка будет во дворце.

В предвкушении райского блаженства он, должно быть, задремал. Очнувшись, вождь увидел у своих ног колено-преклоненную девушку. Он поднял ее, посадил подле себя на диван.

— Ты не жалеешь, что пришла? Как тебя зовут, милая девочка?

— Эффуа, мой господин и повелитель.

— Красивое имя, под стать тебе самой. Вот возьми

остальные пятьдесят фунтов выкупа. Мы тайно поженимся сегодня вечером, а церемонии отложим на потом.

Нана Адаку II отнюдь не первым использовал этот прием: и цивилизованные, и не очень, и вовсе дикари — во всем мире мужчины говорят в минуты искушения одно и то же.

— Можно мне отдать эти деньги матери, она там ждет? — спросила рассудительная красотка.

Вождь утвердительно кивнул.

Эффуа вышла и быстро вернулась.

— Нана, моя мать и члены моей семьи благодарят тебя за столь щедрый дар.

— Пустяки, моя красавица, — отмахнулся вождь, перебирая бусы из слоновой кости, уютно устроившиеся на ее прелестной груди.

— Они считают, что я доставляю тебе особое удовольствие, раз ты делаешь мне такие подарки, — сказала она, застенчиво улыбнувшись.

— Милая, но ты же просто очаровательна. Разве у них нет глаз?

— Прости, мой повелитель, но я и сама что-то не понимаю тебя.

— Не понимаешь, моя скромница? Да ты только посмотри на себя вон в то большое зеркало.

Лукаво улыбнувшись, девушка подошла к зеркалу, полюбовалась собой. Потом кокетливой походкой приблизилась к Оманхене и прильнула к его груди.

— Ты очень красива, Эффуа. — Вождь провел рукой по ее черным блестящим волосам, столь искусно заплетенным в косы.

— Но, господин мой, ведь я всегда была такой, разве нет?

— Думаю, что да, красавица, но я-то увидел тебя только сегодня.

— Только сегодня?

— Ну да, любимая.

— Разве ты забыл?

— Что?

— Ты же заплатил пятьдесят фунтов... и женился на мне два года назад.

Аджоа Йебоа-Афари

В ожидании рейса

На автовокзал Тема я попал в восемь часов утра. Протиснувшись к голубому киоску, где продавали билеты на Данфу, я с беспокойством обнаружил там подозрительное затишье, тогда как у других касс выстроились длинные хвосты и царило оживление. Все говорило о том, что скоро мне не уехать.

В ответ на мой вопрос мрачный кассир сказал, что первый грузовик на Данфу еще не отправился, и кивком указал на стоявшую рядом колымагу с деревянным кузовом. Пассажиров было пока только трое: две женщины взгромоздились, как на насест, на доски, служившие скамейками, а позади них примостилась девочка-подросток в красном платье. Протягивая четыре цента за билет, точнее, за клочок газетной бумаги, на котором вручную были проштемпелеваны цена и пункт назначения, я мысленно подсчитывал, сколько же понадобится времени, чтобы набрать полный комплект — тридцать девять пассажиров.

Я расположился в передней части грузовичка рядом с пожилой женщиной, которой платок, завязанный узлом над лбом, придавал несколько чопорный вид. Из-за невероятных габаритов ее корзины из рафии* ноги поставить было практически некуда. Однако я все же ухитрился их пристроить и теперь утешался мыслью, что мне посчастливилось занять одно из двух почетных мест сразу за кабиной водителя и избежать тряски на заднем сиденье. Вполне вероятно, что я не успею в Данфу вовремя, но зато поеду с шиком «первым классом».

Железнодорожный вокзал Тема находится в самом сердце

* Рафия — прочное волокно, получаемое из листьев пальмы-рафии, используемое для плетения разнообразных изделий.

Аккры. Здесь же конечная остановка муниципальных и частных автобусов и вообще всех транспортных средств, доставляющих пассажиров из пригородов столицы и близлежащих городов и деревень и обратно. Это пыльная четырехугольная площадь, окруженная множеством столовых, закусочных и билетных касс.

В Аккре все знают вокзал Тема, едва ли не самый известный в стране. Однако это название вызывает еще и ассоциацию с распродажей поношенной одежды, которая всегда устраивается там по воскресеньям. Место это к тому же печально знаменито своими мошенниками и ворами, и приезжих обычно предупреждают, что тут надо быть поосторожней, особенно с наступлением темноты.

Солнце теперь уже палило нещадно. Я занимался тем, что пытался заманить взглядом в наш грузовичок хотя бы некоторых из сновавших вокруг пассажиров. Почти каждую минуту подкатывала какая-нибудь машина и извергала свой живой груз прямо в пыль. Мне подумалось, что, наверное, именно в часы затянувшегося ожидания клиентов шоферской фантазией были рождены те афоризмы, которые красовались чуть ли не на каждой машине: «Умри, а сделай», «Тысяча лиц», «Говори за себя», «Эфа вохо бен» (что на языке тви означает: «Не твое дело»).

Грузовики без подобных надписей были редким исключением, и меня даже огорчило то, что к их числу принадлежала и наша, отправлявшаяся в Данфу колымага. По-моему, это свидетельствовало о прискорбном отсутствии воображения у ее шофера-владельца. Попытки проникнуть в тайный смысл таких изречений помогают скоротать время.

Если смысл афоризмов вроде «Говори за себя» (для тех, кто несведущ в ганском варианте английского, поясню, что это означает: «Не суй нос не в свое дело»), «Подвезло с мамой» (читай: «Счастлив тот, у кого есть мама») все же поддается дешифровке, то что значит «Тысяча лиц»?

Большинство машин, набрав пассажиров, разъехались кто куда, однако наша все еще оставалась почти пустой.

Я забеспокоился. Меня осенило, что местоположение Дан-

фы отличается неблагоприятной для меня особенностью. Дело в том, что это одна из деревушек, стоящих на проселке, в стороне от шоссе Аккра — Абури. Следовательно, большинство пассажиров нашего грузовичка должны составлять люди, приехавшие в город только сегодня утром, и вряд ли даже самые расторопные из них вернутся на вокзал раньше девяти.

Старуха заерзала на лавке, пробурчав себе под нос что-то о мытарствах путешествия. Вспомнив, что у меня где-то была газета, я извлек ее. Заметка на последней странице ненадолго завладела моим вниманием: победителю конкурса «Лучший младенец», проходившего в аккрской клинике Маамоби, вручили как приз шесть банок молока и одеяло, лауреат второй премии получил четыре банки молока и одеяло, третьей — шесть банок.

На ходу разваливавшееся такси «рено» после сложных маневров остановилось перед нами. Водитель открыл багажник и с трудом выгрузил на землю ящик со свежей рыбой. Из машины вышла пассажирка и расплатилась с таксистом. «Только бы не к нам!» — взмолился я, представив себе рыбный аромат и увидев, что шофер взвалил ящик на плечо и в сопровождении женщины направляется в нашу сторону.

Увы, моя молитва услышана не была, и ящик занял-таки свое место под сиденьем рядом с прочими вещами, в числе которых уже была разобранная кровать, два кофейных столика и средних размеров корзинка с зелеными бананами, цена которых, как нам сообщил владелец, победоносно усмехнувшись, составила триста центов.

Из привокзальной закуской «Слава Создателю, Аллилуйя!», держа в руках чан для мытья посуды, неторопливо вышел оборванный и необычайно грязный поваренок, походивший скорее на подмастерье из ремонтной мастерской, чем на работника сферы питания, и выплеснул содержимое прямо на землю. Грязная вода быстро впиталась в пыль, оставив лишь недоеденные клецки-фуфу*, рыбные кости и одну

* Фуфу — клецки из измельченного вареного банана, маниоки, ямса. Подается с супом.

маленькую, совсем целую, рыбку, которую моментально облепила тьма мух. Мальчик снова принялся за мытье глиняных мисок, которыми пользовались в харчевне.

Мимо прошла торговка жареными бананами и арахисом и вопросительно посмотрела на нас, предлагая свой не очень аппетитный на вид и ничем не прикрытый товар, разложенный на подносе.

8.55. Я осмотрел «салон второго класса». К нам присоединились еще несколько пассажиров, и теперь все были увлечены оживленной беседой. Я заметил, что задний борт кузова открыли и девушка в красном платье перебралась на последнюю скамейку. Она сидела ко мне спиной, но я видел, что она что-то перебирает в глиняной миске. Сначала я решил, что она купила себе завтрак в «Славе Создателю», но потом понял, что она занималась не чем иным, как чисткой рыбы — маленькой рыбки, известной кое-где под названием «Плутиска из Чоркора» (Чоркор — расположенный на берегу моря пригород Аккры).

Может быть, она решила, не теряя даром времени, заняться домашними делами? Вскоре я получил ответ на свой немой вопрос. «Что ты делаешь?» — поинтересовался какой-то любознательный пассажир. «Это для водителя и его друзей, — сказала Красное Платьице, — они хотят сварить суп».

«Что? Какой там еще суп? Когда же мы поедем?» — раздался возмущенный возглас. Помощник водителя в ответ на это только усмехнулся.

«Ну вот, когда-то мы теперь тронемся?» — прокомментировала моя соседка-старуха.

Однако помощник ничуть не смутился, и скоро мы услышали, как он призывает женщин: «Поройтесь-ка в своих корзинках и поищите что-нибудь для приготовления супа. Нужны помидоры, перец, соль, лук».

Запустив руку поочередно в несколько корзинок, он стремительно исчез со своей добычей, Красным Платьицем и глиняной миской. «Ну а уж очаг-то найдется — вот оно, преимущество соседства с харчевней», — размышлял я.

Из прибывавших машин вываливались новые пассажиры.

Интересно, кто они, чем занимаются? Вряд ли все приехали только на рынок.

Зато не приходилось сомневаться в изобретательности торговцев, заполонивших привокзальную площадь. Чего только не было на лотках, которые они, по традиции, носили на голове! Там были пластыри, апельсины, сумки, кипарисовые орешки, дезинфицирующее мыло домашнего приготовления, тетради, таблицы умножения, ремешки для часов, жвачка, жидкость от вшей. Повсюду были расставлены столики, с которых торговали всяческой снедью.

Мимо грузовика, удовлетворенно улыбаясь, прошла женщина. Часть ее покупок была сложена в блестящий дуршлаг, который она, подобно корзине, водрузила на голову. В руках она тащила купленные явно по дешевке плоды авокадо. В каждом был вырезан кусочек — признак того, что они либо начали портиться, либо побились при транспортировке. Я почти слышал завлекающий голос продавца: «Вам просто повезло, что я отдаю их за бесценнок. Взгляните, только вот тут чуть-чуть подпорчены».

Другая женщина устало, но целеустремленно шла куда-то, сжимая под мышкой бумажный мешок, из которого доносилось кудахтанье. Меня так и подмывало узнать, куда она направлялась.

Затем в поле зрения на секунду возник уже знакомый нам помощник водителя с полной тарелкой дымящихся кенке* и скрылся в голубой каске. Красное Платице возвратилась и заняла свое прежнее место, видимо, утратив всякий интерес к импровизированным рыбным блюдам.

Я с облегчением отметил, что грузовичок заполнился уже больше чем наполовину. Снова вытер лоб насквозь промокшим носовым платком. Зад мой ужасно устал от долгого сидения на деревянной скамейке.

Торговку мылом остановила только что вылезшая из грузовика женщина. За спиной у той и другой было по ребенку. Малыши выглядели так, словно могли отлично

* Кенке — мучные клецки, завернутые в кукурузные или банановые листья. Подается с супом и соусом.

справиться с миской кенке или фуфуо, однако оба все еще сосали грудь. Поскольку женщины кормили младенцев на ходу, то те пребывали в каких-то неестественных позах: скорчившись за спиной мамаш, они просовывали головы им под мышки, чтобы достать грудь.

Расплачиваясь за товар, покупательница отняла ребенка от груди и передвинула его за спину. В знак протеста малыш тут же истошно завопил. А торговкин ребенок между тем продолжал свою трапезу. Свободной рукой его мать ловко заворачивала мыло. Услышав крик своего собрата, малыш на секунду перестал чмокать и с пониманием посмотрел на него. Покончив с покупкой мыла, женщина снова сунула грудь младенцу. Вопли сразу прекратились. Женщины разбрелись в разные стороны, а малыши продолжали деловито сосать.

Снова появился поваренок со своим чаном, отошел чуть подальше, лениво выплеснул воду, изучил следы, которые она оставила в пыли, развернулся и неспешно, как человек, не имеющий своего коммерческого интереса в деле, побрел к стоящему перед харчевней столу для мытья посуды. Увидев гору мисок, которые предстояло перемыть, я понял, почему мальчик не слишком спешит обратно.

Из-за поворота показался чистенький, аккуратно одетый нищий, явно принадлежавший к новому сорту попрошаек. Судя по всему, он предпочитал иметь дело только со слабым полом. За то время, что я наблюдал за его передвижениями от автобуса к автобусу, он ни разу не обратился ни к одному мужчине.

Интервалы между рейсами увеличились, утренний поток пассажирского транспорта заметно иссяк. Большинство тех, кто направлялся в город по делам, уже приехали. Множество грузовиков дожидалось пассажиров. Кроме тех, конечно, которые отправлялись в Тему. Очередь на Тему по-прежнему была длинной. Внезапно и ее как ветром сдуло, и все с разной скоростью бросились к только что подъехавшему грузовику. Через считанные секунды грузо-

вик этот уже отъезжал, оставив на площади нерасторопных или не умевших как следует работать локтями.

А в нашем грузовичке по-прежнему было тихо; лениво завязывавшиеся время от времени разговоры так же незаметно угасали. Те, кому удалось приткнуться куда-нибудь голову, дремали. Теперь не хватало лишь нескольких пассажиров.

Я восхищался припаркованными на вокзальной площади чудесами ганского технического гения — всевозможными ловко переделанными и наскоро собранными из подручных средств «автомобилями». И действительно, некоторые из них утратили всякое сходство со своими прототипами, и заводским конструкторам пришлось бы изрядно поломать голову, чтобы опознать свои модели.

Я наблюдал за приближением девушки-носильщицы, пошатывавшейся под тяжестью бататов, увенчанной изрядным куском вонючей соленой рыбы. Владелица бататов следовала за ней. Я заранее посочувствовал пассажирам того грузовика, которому суждено было принять на борт этот груз, и с трепетом стал следить за ним. На сей раз господь услышал мою молитву, и женщины прошагали мимо.

Из забегаловки трусцой выбежал поваренок, преследуемый, как выяснилось, одной из молоденьких официанток, которая игриво шлепнула парнишку, явно желая поторопить. Женщины в нашем грузовичке тут же притворно запротестовали против чрезмерной вольности нравов, а мужчины высказали несколько недвусмысленных замечаний. Девушка засмеялась и снова шлепнула поваренка. «Заигрывает», — констатировала одна из пассажирок.

Без предупреждения наш водитель вскочил в кабину и посигналил. «Ты готов?» — крикнул он своему помощнику. «Подожди», — послышался ответ.

Заскрипели болты закрываемого заднего борта. Возглас помощника «Поехали!» прозвучал божественной, сладкой музыкой; заработал мотор, шофер еще раз предупреждающе погудел зазевавшимся пешеходам. И мы тронулись в путь. Было 10.25.

Кобина Эйи

Обычный случай

Не успевшее отдохнуть тело какое-то мгновение еще отказывалось подчиняться велению воли. Усталость брала верх над стремлением поскорее взяться за дело. Помедлив долю секунды, доктор Кваину вскочил с кровати и выключил стоявший рядом будильник. Семь тридцать. Накануне он добрался до постели очень поздно — почти в пять утра. День выдался суматошный и утомительный. Прием в поликлинике с восьми: непрерывный поток посетителей почти до половины третьего, затем — обход. Это входило в обязанности коллеги Ману, но тот был на больничном. Тяжко пришлось. Больнице нужны по крайней мере шесть врачей, а справляться приходится им втроем. Все трое просто с ног валяются от усталости, а ведь какие-то силы нужны и для приема амбулаторных больных. Эти сплошным потоком идут и идут в поликлинику из города, из окрестных деревень. Господи, с чем они только не являются!.. Вряд ли хоть один из врачей больницы может позволить себе спать более четырех часов в сутки: даже когда Кваину готовился к экзаменам на степень бакалавра медицины — он сдал их с отличием, — ему удавалось спать больше, чем сейчас. Неудивительно, что Ману заболел. Переутомление.

Кваину налил воды в чайник только до половины, в рекордные сроки — за две минуты! — успел принять душ. Обжигаясь, залпом выпил наскоро заваренный чай. Необходимо было хоть чем-то наполнить желудок и хоть как-то взбодриться, чтобы выдержать до обеда. Вчера он покончил с обходом в четыре и опрометью бросился домой — приготовить поесть: он жил один. Только взялся за еду —

телефонный звонок: вызывали по скорой, несчастный случай.

То, что произошло вчера, было ужасно. Столкнулись два переполненных автобуса. Семь убитых, шестнадцать раненых, из них десять — тяжело. Когда Кваину приехал, доктор Уайт был еще в отделении, пострадавших привезли, как раз когда он собирался уходить. Выматывающая ночь. Почти семь часов они резали, и зашивали, и перевязывали, и вправляли суставы. Душно, липко, всюду кровь. До тошноты. За шесть лет врачебной практики через его руки прошло множество пострадавших в катастрофах, но случая столь ужасного не было ни разу. К тому же в больнице оставались лишь два до смерти уставших врача. Последние операции Кваину делал уже совершенно автоматически: действовали только руки, мозг работать отказывался.

Остаток ночи он провел в морге — занятие еще более тяжкое, чем обрабатывать раны: приводить в порядок, сшивать, накладывать повязки на искалеченные, раздавленные, перерезанные мертвые тела, готовя их к похоронам.

Когда они закончили все дела в операционной, Кваину уговорил доктора Уайта уйти домой: у него семья, он целые сутки дежурил, да еще и в операционную его вызвали рано утром. Ему просто необходимо отдохнуть.

Доктор Уайт — англичанин до мозга костей. Специалист по детским болезням, он просто чудеса творил в их районе, леча искривленные рахитом ноги, чиня переломы и вправляя вывихи. Безотказный работник, самоотверженный человек, настоящий врач, беспредельно преданный своим пациентам.

Когда в половине пятого утра Кваину выходил из больницы, он чуть не падал от усталости. Чудо еще, что благополучно довел машину до дома, смог раздеться и запереть дверь.

Радио напомнило: семь пятьдесят. Придется поспешить. Амбулаторные больные, конечно, уже не умещаются под навесом, специально построенном для ожидающих, толпятся на солнце, сгрудились в скудной тени редких деревьев. Больнице нужны новые помещения и новые врачи. Сколько больных приходилось отправлять домой — мест не хватало.

Он проверил содержимое чемоданчика, взял из шкафа съезжий халат и запер дом. Обожженный чаем язык саднил.

Зажигание включилось лишь со второй попытки: надо бы проверить аккумулятор. Ему вечно не хватало времени ни на что, кроме работы, да — урывками — сна. До больницы было около двух километров: пережиток колониальных времен — предоставлять врачу жилье в фешенебельном районе, подальше от больных.

Мотор чихнул и заглох. Господи, бензин! Он и не помнил, когда в последний раз смотрел на указатель. Надо было заправиться еще вчера после обеда, так ведь и пообедать не удалось! Он вышел из машины и огляделся: никаких заправочных станций поблизости. Взял из машины чемоданчик и халат, поднял оконные стекла и запер машину: придется купить канистру бензина после амбулаторного приема, вернуться и залить бак — вот неприятность! Ну что ж, больные прежде всего. Слишком рано — такси сюда в это время не заезжают. Кваину отправился пешком. И сразу почувствовал, как печет солнце.

Первое такси, которое он окликнул, было уже занято — всего один пассажир, но водитель не захотел ехать к больнице: невыгодно. Бессмысленно было стоять и ждать, разумнее идти и попытаться поймать машину по дороге. Кваину прошел почти полпути, когда кто-то узнал врача, остановился и специально сделал крюк, чтобы подбросить его до больницы.

Его сразу же поразила тишина. Больных, как обычно, хватало, однако было необычно тихо, даже стоны звучали приглушенно. Вряд ли потому, что именно сегодня сестрам посчастливилось утихомирить плачущих детишек и воркующих над ними матерей. Кваину не стал доискиваться причины, главной его заботой было поскорее добраться до кабинета и начать прием. Он так и не заметил ничего особенного, пока не услышал оклика.

— Эй, друг! Доктор! — Он сначала не понял, что это адресовано ему. Обернулся. Перед ним, держа наперевес ружья с примкнутыми штыками, стояли два солдата.

У Кваину замерло сердце. Он бросил взгляд на дверь своего кабинета, в которой, громко скрипя сапогами, появился капрал.

— Эй, вы! Продолжать! Встать — сесты! Встать — сесты!..— Вот когда Кваину увидел еще двух солдат, муштрованных нескольких его подчиненных. Среди них были фармацевт Менза, толстый господин Гизба — старший медбрат, и еще несколько мужчин и женщин в белых халатах, которые по команде приседали и поднимались, держа руки за головой. Он взглянул на больных, молча сгрудившихся под навесом.

— Доктор, который час? — Эти слова произнес человек, тоже появившийся из дверей кабинета. На человеке был прекрасно сшитый офицерский мундир, хотя доктор Кваину не мог определить его чин. Он так и не научился разбираться в звездах и просветах на погонах, они ничего ему не говорили.

— Восемь двадцать,— ответил он, взглянув на часы.

— Это у вас называется восемь часов?

— Я бы пришел раньше, но...

— Вас с семи ждут пациенты, а вы позволяете себе дрыхнуть допоздна! Являетесь на работу вразвалочку!

— У меня машина...

— У него машина! Граждане нашего государства больны и ждут, а он тут разговоры разговаривает! У него, видите ли, машина!

Кваину не знал, что и сказать. Он услышал чей-то стон: видимо, кто-то из больных, ожидавших под навесом, не смог удержаться. Посмотрев в ту сторону, он увидел, как под яростным взглядом солдата мать пытается успокоить дрожащую в ознобе девочку. Нерешительно он шагнул к навесу и остановился, чуть не наткнувшись на штык, направленный прямо ему в живот.

— Но, господин офицер, я только хотел...

— Вы... Это из-за вас страна теряет незаменимых людей,— произнес офицер, не взглянув на девочку.— Вы жиреете на казенных харчах, а дела не делаете; вы презираете

своих больных, хоть некоторые из них вам не то что в отцы — в деды годятся, а все потому, что у вас диплом в кармане...

— Господин офицер, больные... девочка... мы зря теряем время... больные...

— Зря теряем время? А ну устройте ему разминочку! Солдат заколебался, не уверенный, правильно ли он понял приказание.

— Но...— Доктор Кваину развел руками.

— Разминку ему!

Возмущенный доктор Кваину шагнул было к кабинету, но остановился, почувствовав, как в спину ему уперлось острие штыка.

— Руки вверх! — сказал капрал. Кваину нагнулся, чтобы поставить чемоданчик и положить халат у стены, рядом с дверью кабинета.— Отставить! Вещи держать! Руки вверх! Кругом, быстро, строевым шагом, марш!левой — правой, левой — правой...

Шарлотта, медсестра, услышала что-то неладное еще издали, слава богу, прежде чем дошла до ворот больницы. Навстречу ей попалась Беа, без халата, с сумкой в руках.

— Разве ты не на дежурстве? Ведь тебе с восемью тридцати дежурить в мужском отделении,— полюбопытствовала Шарлотта.

— М-м-м, сестричка,— ответила Беа,— разве не слышала, что творится в больнице?

— А что там? — У Шарлотты все сжалось внутри. Она осторожно положила руки на заметно выросший живот.

— Говорят, пришли военные и муштруют господина Гизбу и медсестер.

— Неужели самого Гизбу? Старшего? Не может быть!

— Очень даже может! Это мне матушка Яро сказала. Она ведь продает апельсины у самых больничных ворот.

— О господи! Что же ты будешь делать?

— Попробую пройти без халата, прямо в платье. Халат у меня здесь.— Беа похлопала по сумке рукой.

— Эй, уважаемая сестрица! — Возглас женщины, выбо-

жавшей из-за угла, заставил обеих вздрогнуть. Шарлотта узнала ее — они жили рядом, в одном квартале.

— Что вы здесь стоите? Идите скорей! Посмотрите, как солдаты муштруют вашего доктора!..

— Доктора?! — в один голос воскликнули сестры.

— Как же звать-то его? А, ну да, доктор Кваину, молодой такой, у него еще машина — «вольво».

— Да, это доктор Кваину. Неужели и его тоже?

— М-м-м! Ужасно! Я просто потрясена! Проходила мимо ворот по улице и заглянула во двор больницы. Солдаты с ружьями заставляют его маршировать. А кругом больные... Нехорошо... Чем же он провинился?

— Откуда нам знать.— сказала Беа.— Может, опоздал?

— Но у него сегодня нет утреннего дежурства. У него обход с двух тридцати.— Сестра Шарлотта знала список врачебных дежурств назубок.

— Знаете, а ведь еще двое разыскивают доктора Ману.

— Вот как?!

— Кристи мне сказала, доктор Кваину дежурил по скорой всю ночь. Он закончил только в четыре утра. Из-за той катастрофы на дороге. Семь убитых, шестнадцать тяжело раненных. Я-то поэтому и выхожу с утра. Кристи работала в ночную. Забежала ко мне по пути домой и все рассказала.

— А он сегодня в поликлинике принимает?

— Конечно. А они — посмотри, что с ним делают!

— Ой, не говорите! — ответила женщина, довольная тем, что услышала о ночной катастрофе: будет о чем посплетничать.

— Пожалуй, я лучше домой пойду,— сказала Шарлотта. Она всегда могла сослаться на то, что плохо себя чувствует,— через пару недель ей все равно уходить в отпуск по беременности.

— А я пройду через калитку около морга,— сказала Беа и медленно пошла прочь. Шарлотта направилась домой. Соседка шла рядом.

— Если вы туда пойдете, они и вас заставят делать

то же самое? — Женщина не то спрашивала, не то утверждала.

— И сомнения быть не может. Если уж с тигра шкуру дерут, неужели оленя в покое оставят?

— Боже мой, боже! Так-то военные правят страной?! А как избили беременную на рынке — вот совсем недавно! Это я не понаслышке знаю, сама видела, вот этими своими глазами. Ох, как жалко ее было, как ужасно! И все из-за каких-то налогов. Женщина им говорила, что у нее все уплачено, только квитанции она оставила дома. Никто и слушать не стал. Били, пока сознание не потеряла...

— Да, я знаю. Ее ведь в больницу потом принесли...

— М-м-м, моя милая, и куда мы только идем? А еще утверждаем, что добились независимости!

Как раз в это время из операционной вышел доктор Уайт — передохнуть минут пять. Хотя некоторые утверждали, что у доктора несколько необычное чувство юмора, даже он не мог найти ничего забавного в представшей перед его глазами сцене. Не было ничего смешного в том, как старший медбрат, обливаясь потом, прыгал по-лягушачьи, ведя за собой чехарду сотрудников больницы. Пораженный, доктор Уайт неожиданно заметил и доктора Кваину: с чемоданчиком и халатом в поднятых над головой руках, тот маршировал строевым шагом вокруг двора, посреди которого сбились в кружок в ужасе следившие за происходящим больные. Уайту показалось, что у него разрывается сердце. Он бросился к капралу и дернул его за рукав:

— Доктора-то зачем? Господин капрал... Доктора... Ведь больные...

Капрал, отдававший приказания, просто не заметил старого врача. Уайт бросился к офицеру. Тот стоял в тени, в дверях приемной, руки в боки, наблюдая разыгравшийся перед ним спектакль.

— Господин офицер, как же так... Ведь... Доктор Кваину сейчас должен принимать больных. Что происходит?

— Он опоздал.

— Но, сэр, он всю ночь пробыл в больнице... несчастный

случай... Он спасал пострадавших! Он ведь ушел домой всего часа два назад!

— Это никак не оправдывает его опоздания!

Светлые глаза доктора напрасно пытались встретиться с глазами офицера.

— Но ведь это не самый лучший способ исправить положение.

— Заткнитесь!

Девочка под навесом застонала снова.

— Господин офицер, но ведь это публичное оскорбление. Ворваться в больницу и муштровать врачей на глазах у больных...

— Рядовой!

— Сэр? — Один из рядовых четким шагом подошел к приемной, угрожающе направив штык в сторону доктора Уайта. Несколько женщин под навесом зарыдали, пряча лица. Офицер кивком указал на врача.

— Давай, доктор, — хрипло произнес солдат, — шагай отсюда, пока тебе тоже разминочку не устроили.

Девочка застонала снова.

— Но... Но это же абсурд!

Никто не мог бы назвать доктора Уайта трусом, но, когда солдат дважды пощекотал его штыком, доктор почувствовал, что героизм его иссякает. И, может быть, прямая конфронтация — не самый лучший способ решения проблемы. Он вдруг почувствовал себя очень старым и очень усталым. Было уже восемь сорок пять, все равно пора на операцию. Медленно, стараясь сохранить достоинство, сгорбленный старый доктор направился к операционной. Открывая дверь, Уайт заметил, как сильно дрожат у него руки. А он-то думал, что за двенадцать лет работы здесь хорошо узнал и страну, и людей. Видимо, он неправ, видимо, никому не дано знать людей.

Доктор Уайт тряхнул головой, стараясь собраться с мыслями, сосредоточиться на предстоящей операции — его ждал больной с тяжелым переломом бедра.

— Экуа! Экуа! — взорвал тишину пронзительный крик.

Кричала женщина — та, что пыталась уговорить свою дочь не стонать. Теперь она трясла девочку за плечи, выкрикивая ее имя. Голос матери рвал тишину в клочки.

— Экуа! Экуа! Аа-а-а! Доктор! Доктор!

В одну секунду доктор Кваину добежал до навеса и склонился над ребенком. Все во дворе замерло. «Разминка» прекратилась. И солдаты, и сестры, начальники и подчиненные — все смотрели на Кваину. Медленно к навесу подошел и офицер, ухмыляясь так, словно все происходящее было лишь очередной уловкой, попыткой помешать ему исполнить свой долг. Доктор Кваину держал в своей большой руке безжизненную руку девочки. Пульса не было. Кваину приподнял девочке веки, потом развел бескровные губы, медленно выпрямился.

— Пять минут назад ее еще можно было спасти. Она была бы жива...

Содержание

5 *Евг. Суровцев. Предисловие*

Айи Квейи Арма

9 Африканская легенда. *Перевод И. Тогоевой*

13 Амулет Яу Ману. *Перевод В. Перехватова*

29 Отбросы. *Перевод В. Перехватова*

Ама Ата Айду

42 Перемены... *Перевод С. Россовской*

60 Деньги для матери. *Перевод Евг. Суровцева*

Селби Ашонг-Катай

69 Непокорный. *Перевод И. Бессмертной*

102 Притворщик. *Перевод И. Бессмертной*

115 Кофи Айду. Десятый ребенок. *Перевод И. Бессмертной*

127 Кваме Ньяку. Чувство справедливости. *Перевод
И. Тогоевой*

137 Мейбл Доув-Данква. Предвкушение. *Перевод
М. Теракопян*

142 Аджоа Йебоа-Афари. В ожидании рейса. *Перевод
М. Теракопян*

149 Кобина Эйи. Обычный случай. *Перевод И. Бессмертной*

Г19 Ганская новелла/ Пер. с англ. Сост.
Р. Дубровкина. Предисл. Евг. Суровцева.—
М.: Известия, 1987.— 160 с. (Библиотека
журнала «Иностранная литература»)

В сборник вошли рассказы молодых прозаиков Ганы, написанные в последние двадцать лет, в которых изображено противоречивое, порой полное недостатков африканское общество наших дней.

Г $\frac{4703000000-045}{074(02)-87}$ 72—87

ББК 84. 6 Ган
И (Афр)

ГАНСКАЯ НОВЕЛЛА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Тогоева*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Т. Старостина*

ИБ № 1108

Сдано в набор 29.08.86. Подписано в печать 06.02.87.
Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт.
13,3. Уч.-изд. л. 7,28. Тираж 50 000 экз. Зак. № 909.
Цена 80 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск,
ул. Мира, 93.

Из авторов данного сборника советскому читателю лучше всего известно имя Айи Квеи Армы (р. 1939) — по романам "Осколки" (1969) и "Целители" (1979), которые были опубликованы в журнале "Иностранная литература" в 1976 г. (№ 3, 4) и в 1982 г. (№ 1—3).

А. К. Арма написал также романы "Прекрасные еще не родились" (1968), "Почему мы так благословенны?" (1972) и "2000 сезонов" (1974).

Остальные авторы сборника группируются в основном вокруг университета Ганы; в большинстве это новые имена в западноафриканской литературе, хотя отдельные рассказы Амы Аты Айду публиковались в советской печати (а на родине популярны и ее пьесы), а Селби Ашонг-Катай известен у нас по подборке стихотворений ("Иностранная литература" 1985, № 12).

Рассказы молодых ганских писателей знакомят нас с жизнью современной Африки и — в форме аллегии — с ее прошлым, куда уходят корни многих достоинств и недостатков африканского общества.
